# Мараны

# Оноре де Бальзак

Графине Марлен[[1]](#footnote-1).

Несмотря на дисциплину, которую маршал Сюше ввел в своей армии, ему не удалось предотвратить волнений и беспорядка, возникших на первых порах по взятии Таррагоны[[2]](#footnote-2). По словам некоторых военных, заслуживающих доверия, это опьянение победой сильно походило на грабеж; впрочем, маршал сумел быстро положить ему конец. Порядок был восстановлен, полки размещены по казармам, комендант города назначен, пришли военно-административные власти. Город сразу приобрел двойственный облик: если все здесь было поставлено на французский лад, то испанцам предоставлена свобода упорствовать in petto[[3]](#footnote-3) в своих национальных вкусах. Начавшийся было грабеж — трудно сказать, сколько времени он длился, — как всякое событие под луной, имел свою причину, и отгадать ее легко. В армии маршала был полк, почти целиком состоявший из итальянцев; командовал им некий полковник Эжен, человек необыкновенной отваги, второй Мюрат, который слишком поздно попал на войну и потому не получил ни Бергского великого герцогства, ни Неаполитанского королевства, ни пули под Пиццо[[4]](#footnote-4). Но если его не пожаловали какой-нибудь короной, зато место в бою предоставили такое, где пули так и летали; что мудреного, если в него их угодило несколько? В этот полк входили остатки Итальянского легиона, который был для Италии то же, что для Франции ее колониальные батальоны. Сборный пункт его, расположенный на острове Эльбе, служил местом почетной ссылки господских сынков, внушавших семьям опасения за свое будущее, и тех неудавшихся великих людей, которых общество заранее метит каленым железом, называя их *пропащими*. Людей, в большинстве своем непонятных, существование коих может стать либо прекрасным благодаря улыбке женщины, способной совлечь их с блестящего, но проторенного пути, либо ужасным под влиянием обидного замечания, вырвавшегося к концу пьяной попойки у захмелевшего собутыльника.

Итак, Наполеон зачислил этих молодцов в 6-й линейный полк, надеясь почти всех, кроме растерзанных пушечным ядром, произвести в генералы. Но расчеты императора оправдались лишь в той части, которая касалась опустошений, вызванных смертью. Полк, не раз сильно редевший и неизменно пополнявшийся, прославился великой доблестью на войне и самым гнусным поведением в мирной жизни. Во время осады Таррагоны итальянцы потеряли своего знаменитого капитана Бьянки, того самого, который в походе побился об заклад, что съест сердце испанского часового, и действительно съел его. Об этом бивуачном развлечении повествуется в другом месте[[5]](#footnote-5) (см. «Сцены парижской жизни»), и там о 6-м линейном приводятся подробности, подтверждающие все, что рассказывается здесь. Хотя Бьянки являлся главарем сущих дьяволов, которым полк был обязан своей двойственной репутацией, все же он обладал своего рода рыцарской честью, ради которой в армии прощают излишнюю жестокость... Коротко говоря, в прошлом веке Бьянки был бы отменным флибустьером[[6]](#footnote-6). За несколько дней до взятия Таррагоны он отличился блестящим подвигом, который маршалу было угодно отметить благодарностью. Бьянки отказался от повышения в чине, пенсии, нового ордена и вместо всякой награды потребовал права первым двинуться на штурм Таррагоны. Маршал согласился с этим требованием и забыл о нем. Но Бьянки напомнил ему о себе. Бешеный капитан первым поднялся на городскую стену, водрузил французское знамя и был убит каким-то монахом.

Это историческое отступление понадобилось для того, чтоб объяснить, каким образом. 6-й линейный полк первым ворвался в Таррагону и почему беспорядок, столь естественный в городе, взятом с бою, так быстро перешел в легкое мародерство.

В этом полку служили два офицера, мало приметные среди его железных людей, однако вместе они сыграют в этой истории значительную роль.

Один из них, офицер интендантской службы, ведавший обмундированием, — чин полувоенный, полугражданский — слыл, выражаясь солдатским языком, «мастером обделывать свои делишки». Он строил из себя удальца, хвастал в свете, что служит в 6-м линейном, умел лихо закрутить ус, как человек, готовый все сокрушить, однако товарищи нисколько его не уважали. Он был богат и поэтому труслив. Его прозвали вороньим капитаном, и на то было две причины. Во-первых, он за целое лье чуял запах пороха и, заслышав перестрелку, удирал со всех ног, а во-вторых, эта кличка была построена на незатейливом солдатском каламбуре, которого он, впрочем, заслуживал и которым другой бы сильно возгордился. Капитан Монтефьоре принадлежал к знатной семье миланских Монтефьоре (хотя законами Итальянского королевства ему запрещалось носить свой титул) и был красивейшим малым в армии. Может быть, эта красота тоже служила тайной причиной его осторожности в бою. Рана, которая изуродовала бы ему нос, рассекла лоб или оставила шрам на щеке, нарушила б идеальные пропорции одного из тех прекраснейших итальянских лиц, какие порою грезятся женщинам в мечтах. Его лицо, близкое по типу к тому, с какого Жироде писал в своей картине «Восстание в Каире» молодого умирающего турка, обладало меланхолическим очарованием, которое редкую женщину не вводит в заблуждение. Маркиз ди Монтефьоре был наследником по субституции[[7]](#footnote-7) огромных поместий; доходы с них он заложил на несколько лет вперед, чтоб оплатить свои итальянские похождения, которые в Париже были бы немыслимы. Он разорился, содержа в Милане театр, так как старался навязать публике скверную певицу, любившую его, как он говорил, до безумия. Итак, капитана Монтефьоре ожидало прекрасное будущее, и он даже не помышлял рисковать им ради жалкого кусочка красной ленточки. Но хотя он и не был храбрецом, зато был философом, и в истории, выражаясь нашим парламентским языком, бывали такие прецеденты. Разве не поклялся Филипп II после битвы при Сен-Кантене[[8]](#footnote-8) никогда больше не командовать «Огонь!», кроме как разжигая костры инквизиции, и разве герцог Альба не придерживался той мысли, что самой скверной на свете сделкой явился бы невольный обмен золотой короны на свинцовую пулю? Следовательно, Монтефьоре был последователем Филиппа и в качестве маркиза и в качестве красивого малого, а к тому же мог считать себя тонким политиком, как и Филипп II.

Зная о своем обидном прозвище и пренебрежении полка, Монтефьоре утешался мыслью, что его товарищи — шалопаи, мнению которых, конечно, не придадут большой веры, если им чудом и удастся выйти живыми из этой истребительной войны. Вдобавок, его внешность стоила любого свидетельства о храбрости; он видел себя в будущем непременно полковником — в силу ли особой женской благосклонности или собственного ловкого продвижения — из интендантов в ординарцы, из ординарцев в адъютанты какого-нибудь снисходительного маршала. Ведь слава была для Монтефьоре простым вопросом обмундирования. И вот в один прекрасный день в какой-либо газете о нем напишут: «Доблестный полковник Монтефьоре... и т. д. и т. д.». А тогда, имея сто тысяч скуди годового дохода, он женится на девице знатного происхождения, и никто больше не посмеет ни оспаривать его храбрость, ни проверять его раны. В заключение скажем, что у капитана Монтефьоре был приятель в лице квартирмейстера его полка, провансальца, родившегося в окрестностях Ниццы, фамилия которого была Диар.

На каторге ли, в мансарде ли богемы друг — великое утешение в несчастьях. Монтефьоре и Диар оба были философами и утешались в жизни общностью своих пороков подобно тому, как два художника усыпляют свои житейские горести надеждами на славу. Оба искали в войне не подвигов, а поживы, и людей, павших в боях, попросту звали дураками. Случайность сделала их солдатами, а им бы следовало заседать вокруг стола, крытого зеленым сукном, на дипломатических конгрессах. Природа кинула Монтефьоре в форму, в каких отливаются Риччо[[9]](#footnote-9), а Диара — в тигель, где выплавляют дипломатов. Оба обладали беспокойной, изменчивой, почти женской натурой, равно способной на хорошее и дурное; по прихоти этого своеобразного темперамента они могли совершить и преступление и благородный поступок, акт душевного величия и величайшую низость. Судьба таких людей в любую минуту зависит от того, с какой силой — большей или меньшей — воздействуют на их нервную систему бурные, мимолетные страсти.

Диар хорошо знал счетоводство, но ни один солдат не доверил бы ему ни своего кошелька, ни завещания, может быть, из той неприязни, которую военные питают к чиновникам. Квартирмейстер был не лишен храбрости и своего рода юношеской щедрости — качеств, которые у многих исчезают по мере того, как они становятся старше, рассудительней и расчетливей. Вульгарный по наружности, какой бывает иногда смазливая блондинка, Диар был к тому же бахвалом, большим краснобаем и говорил обо всем. Он мнил себя художником и, в подражание двум прославленным генералам, собирал произведения искусства, единственно ради того, уверял он, чтобы сохранить их для потомства. Товарищи не знали, что и подумать о нем. Многие из них, привыкшие при случае прибегать к его кошельку, считали Диара богатым, но он был игрок, а у игрока деньги не держатся. Он был таким же заядлым игроком, как и Монтефьоре, и все офицеры садились с ними играть, ибо, к стыду человеческому, за карточным столом нередко можно видеть партнеров, которые, закончив игру, будто и не знают и презирают друг друга. Как раз с Монтефьоре держал Бьянки пари относительно сердца испанца.

Монтефьоре с Диаром находились в последних рядах во время штурма и оказались ближе всех к центру города, когда он был взят. Такие вещи случаются в местах жарких схваток, однако для наших приятелей это было обычным делом. Поддерживая друг друга, они храбро углубились в лабиринт узких, темных улочек, направляясь каждый по своим делам: один в поисках рисованных мадонн, другой — мадонн живых.

В каком-то месте Таррагоны Диар узнал по архитектуре портика монастырь; дверь была высажена, и Диар кинулся в притвор, якобы желая унять бесчинствовавших там солдат. Он подоспел вовремя, ибо успел помешать двоим парижанам расстрелять Мадонну д'Альбано, и тут же ее купил у них, несмотря на усы, коими эти два бойких вольтижера ее украсили. Тем временем Монтефьоре, оставшись один, заприметил против монастыря дом купца-суконщика, и вдруг оттуда грянул выстрел — в ту самую минуту, когда красавец капитан, рассматривая дом сверху донизу, уловил в окне быстрый, сверкающий взгляд молоденькой девушки и живо на него ответил. Короткая перестрелка двух пар глаз — и головка девушки скрылась за решетчатым ставнем. Таррагона, взятая приступом, Таррагона, в гневе стреляющая из всех окон, Таррагона, насилуемая, с разметавшимися волосами, полунагая Таррагона с пылающими улицами, наводненными французскими солдатами, убитыми и убивающими, стоила взгляда — взгляда бесстрашной испанки. Не было ль все это боем быков в увеличенном виде? Монтефьоре забыл о поживе; он больше не слышал ни криков, ни ружейной пальбы, ни грохота артиллерии. Ничего божественнее, ничего очаровательнее, чем профиль юной испанки, в жизни не видел этот распутный итальянец, пресытившийся женщинами, мечтавший о несуществующей женщине, ибо он устал от женщин. Он мог еще трепетать, этот сластолюбец и расточитель, промотавший свое состояние на тысячи безумств, на удовлетворение своих низких страстей, пресыщенный молодой развратник, отвратительнейшее чудовище, какое только могло породить наше общество. У Монтефьоре возникла недурная мысль, несомненно, внушенная ему выстрелом лавочника-патриота, — поджечь дом. Но он был один и не мог этого сделать. Средоточием боя теперь стала большая площадь, где несколько упрямцев еще защищались. Впрочем, его тут же осенила другая, более удачная мысль. Диар вышел из монастыря, Монтефьоре ничего ему не сказал о своей находке и отправился с ним побродить по городу. Но на другой день итальянский капитан, получив билет на постой, вселился к суконщику. Не было ль это подобающим жилищем для интендантского офицера, ведавшего обмундированием?

Нижний этаж в доме этого доброго испанца был отведен под обширную лавку, защищенную снаружи толстыми железными решетками — такими же решетками и в Париже забраны окна и двери старых магазинов на улице Ломбардцев. Лавка сообщалась с залой, в которую дневной свет проникал только с внутреннего двора; в этой просторной комнате все дышало средневековьем: старые, закопченные картины, старинные гобелены, старинное brazero[[10]](#footnote-10), на гвозде — шляпа с перьями, ружье гверильясов[[11]](#footnote-11) и плащ Бартоло. Эта комната с примыкавшей к ней кухней была единственным местом, где все собирались, ели или грелись у тускло мерцавшей жаровни, покуривая сигары и разжигая в беседе сердца ненавистью к французам. По старинной моде, поставец украшали серебряные жбаны и ценная посуда. Но в скупо проникавшем сюда свете даже ярко сверкающие предметы лишь слабо поблескивали, и все здесь, как на полотнах голландской школы, казалось темным, даже лица. Между лавкой и залой, такой прекрасной по колориту и патриархальности убранства, имелась довольно темная лестница, которая вела вверх, на склад, где на свету у хитроумно пробитых оконцев было удобно рассматривать сукна. Рядом, наверху же, были комнаты купца и его жены. Наконец, под самой крышей, в мансарде с выступом на улицу и контрфорсами, придававшими этому дому причудливый вид, находилось помещение для ученика и служанки. Но их каморки теперь занял купец с женой, предоставив свои комнаты офицеру, — конечно, для того, чтобы избежать всяких столкновений с ним.

Монтефьоре выдал себя за бывшего испанского подданного, преследуемого Наполеоном, которому он служит против воли. Эта ложь имела ожидаемый успех. Он был приглашен разделить семейную трапезу, как того требовали его имя, происхождение и титул. Монтефьоре знал, чего добивался, стараясь расположить к себе купца: он чуял близость своей мадонны, как людоед чуял свежее человечье мясо, разыскивая спрятанного мальчика-с-пальчик и его братьев. Однако при всем доверии, которое он сумел внушить купцу, тот хранил глубокое молчание по поводу этой мадонны, и к концу первого дня, проведенного под кровлей честного испанца, офицер не заметил и следа молоденькой девушки, не уловил ни единого признака, говорившего о ее присутствии в жилище купца Но каждый звук в этом старом доме, построенном почти целиком из дерева, отдавался чрезвычайно гулко, и Монтефьоре лелеял надежду угадать в ночной тишине, где спрятана незнакомка. Капитан решил, что она единственная дочь суконщика и старики родители держат ее взаперти у себя в мансарде, где они обосновались на житье до самого конца оккупации. Но никаким наитием нельзя было доискаться, где же тот тайник, в котором скрывается бесценное сокровище. Офицер долго стоял, прильнув лицом к окну со свинцовым переплетом в виде мелких ромбов; окно это выходило во двор, со всех сторон замкнутый глухими, высокими стенами. Нигде ни проблеска света, кроме падавшего из комнаты старых супругов, откуда доносился их кашель, шаги и голоса. Девушка словно сквозь землю провалилась! Монтефьоре был слишком хитер, чтобы рискнуть будущим своей страсти, пытаясь ночью обследовать дом, тихонько постучаться во все двери. А вдруг он попадется с поличным этому пламенному патриоту, подозрительному, каким полагается быть испанцу, отцу и торговцу? Ведь это значило бы неминуемо погибнуть! И капитан решил терпеливо ждать, положившись на время и на человеческую забывчивость, ибо даже преступники, а тем паче честные люди неизбежно кончают тем, что забывают об осторожности. На следующий день, увидев на кухне нечто вроде гамака, он догадался, где ночует служанка. Что касается ученика — тот спал в магазине на прилавке. В этот день, второй день пребывания в доме купца, Монтефьоре за ужином своими проклятиями Наполеону так угодил хозяевам, что слегка разгладились хмурые складки на лице суконщика — испанском, важном, темном лице, похожем на те, что в давние времена вырезались на грифах трехструнных скрипок; а на увядших устах его жены мелькала злобно-веселая улыбка. Лампа и багровые отблески brazero причудливо освещали эту благородную залу. Хозяйка предложила un cigareto[[12]](#footnote-12) своему соотечественнику. В эту минуту Монтефьоре услышал шорох платья и падение стула за ковром, украшавшим стену.

— Что это! — вскрикнула хозяйка, побледнев. — Да помогут нам все святые и да уберегут от несчастья!

— У вас есть там кто-нибудь? — спросил итальянец, не выказывая никакого волнения.

У суконщика вырвалось бранное слово по адресу легкомысленных девиц.

Его жена, встревоженная, отперла потайную дверь и вывела полумертвую от испуга мадонну итальянца. Влюбленный, казалось, не обратил на нее внимания. Но чтоб это не выглядело притворством, он посмотрел на девушку, потом, повернувшись к хозяину, спросил на своем родном языке:

— Это ваша дочь, синьор?

У Переса ди Лагуниа — так звали купца — были обширные торговые связи с Генуей, Флоренцией и Ливорно; он знал итальянский и ответил на этом языке:

— Нет. Будь это моя дочь, я не принимал бы таких предосторожностей. Это дитя доверено нам, и лучше мне умереть, чем увидеть, что с ней произошло хотя малейшее несчастье. Но попробуйте-ка урезонить девушку восемнадцати лет!

— Она очень красива, — холодно отозвался Монтефьоре.

— Ее мать славится красотой! — ответил купец.

И они продолжали курить, наблюдая друг за другом. Монтефьоре дал себе слово даже не смотреть в ее сторону, боясь, что напускная холодность изменит ему; однако едва Перес отвернулся, чтобы сплюнуть, Монтефьоре позволил себе украдкой взглянуть на девушку и встретил ее сияющий взор. И тут с той изощренностью зрения, которая наделяет как искушенного развратника, так и скульптора роковой способностью одним взглядом раздеть женщину и мгновенно угадать ее формы, он увидел перед собой венец творения, создать который могла только любовь во всей своей силе. Это было лицо дивной белизны, которое небо Италии позлатило мягкими оттенками бистра как бы для того, чтобы дополнить его выражение серафической безмятежности пламенной гордостью; сиянием, разлитым под его прозрачной кожей, оно было, вероятно, обязано легкой примеси мавританской крови, придававшей ему живость и красочность. Подобранные кверху волосы ниспадали целым каскадом кудрей, оттенявших своими черными блестящими кольцами прозрачное розовое ушко и стройную шею с голубыми прожилками. В рамке этих роскошных кудрей выделялись ее жгучие глаза и яркие губы. Национальная баскина подчеркивала изгиб талии, тонкой, как тростинка. Это была Мадонна, но не итальянская, а испанская, Мадонна Мурильо, самого смелого, самого пламенного из живописцев, единственного, кто в неистовой отваге вдохновения дерзнул изобразить ее опьяненною блаженством зачатия Христа. В этой девушке сочетались три свойства, из которых достаточно одного, чтобы боготворить женщину: чистота жемчужины, покоящейся на дне меря, возвышенная пылкость св. Терезы испанской и безотчетное сладострастие. Ее появление обладало волшебной силой: Монтефьоре показалось, будто все старое, что окружало его, исчезло — девушка всему вернула молодость. Видение было чудесным, но мимолетным. Незнакомку снова водворили в ее таинственную обитель, куда служанка, уже не таясь, принесла ей свечу и ужин.

— Вы правильно делаете, что прячете ее, — сказал Монтефьоре по-итальянски. — Я сохраню вашу тайну. Но черт возьми! У нас есть генералы, способные отнять ее у вас по праву победителей.

Любовная страсть Монтефьоре дошла до предела: он готов был жениться на незнакомке. Он стал расспрашивать о ней у хозяина. Перес охотно рассказал о том, как появилась у него питомица. Осторожный испанец решился пойти на эту откровенность из уважения к знатному роду Монтефьоре, про который ему доводилось слышать в Италии, а также желая показать, что девушка недосягаема для обольщения. Хотя этот непритязательный человек обладал известным красноречием, свойственным почтенной старости, столь же выразительным, как его простые повадки и отважный выстрел, которым он встретил Монтефьоре, все ж его рассказ выиграет в кратком изложении.

В ту пору, когда Французская революция изменила нравы в странах, служивших ареной ее войн, в Таррагону прибыла некая куртизанка, изгнанная из Венеции после падения последней. Жизнь этого создания была пестрым сплетением романтических авантюр и самых непостижимых перемен. Чаще, чем всякой другой женщине такого пошиба, отверженной обществом, ей случалось по прихоти какого-нибудь вельможи, плененного ее необыкновенной красотой, некоторое время жить в роскоши — ее осыпали золотом и драгоценностями, окружали всеми благами богатства. Тут были цветы, кареты, пажи, камеристки, дворцы, картины, возможность надменно относиться к людям, путешествия на манер Екатерины II — словом, жизнь королевы, обладающей неограниченной властью, не знающей преград своим капризам. А вслед за этим, хотя никто — ни она сама и никакой ученый, физик или химик, не могли б объяснить, каким образом испарилось ее золото, она оказывалась выброшенной на мостовую, нищая, лишившаяся всего, кроме своей всемогущей красоты, и все же она не испытывала и тени сожаления о прошлом, не думала ни о настоящем, ни о будущем. Надолго ввергнутая в нищету каким-нибудь бедным офицером, игроком, которого она обожала за усы, привязавшись к нему, как собака к своему хозяину, она делила с ним все невзгоды походной жизни, была ему утехой, весело переносила лишения и засыпала под голыми балками чердака столь же спокойно, как под шелковым пологом роскошной кровати. Эта полуитальянка-полуиспанка строго соблюдала предписания церкви и не раз говорила любовнику:

— Приходи завтра, сегодня я принадлежу богу.

Но эта грязь, перемешанная с золотом и благовониями, эта поразительная беспечность, пылкие страсти и горячая вера, зароненная в ее сердце, как алмаз в болото, эта жизнь, которая начинается и кончается на больничной койке, удачи и несчастья игрока, перенесенные в жизнь души человеческой, во все существование, эта сложная алхимия, где порок разжигал огонь, на котором таяли самые крупные богатства, плавились и исчезали золото предков и честь великих имен, — все это было следствием того особого духа, какой еще со времен средневековья неизменно передавался в роду этой женщины от матери к дочери: начиная с XIII столетия они не знали брачных уз, самое понятие «отец», его личность, имя и власть были им совершенно неведомы. Прозвище Марана являлось для этой семьи тем же, чем было звание «Стюарт» для славной королевской династии Шотландии — заслуженным именем, вытеснившим родовое в силу того, что в этом роду из века в век передавалась по наследству должность, пожалованная ему во время оно. Во Франции, Испании и Италии на протяжении XIV и XV веков, когда у этих трех стран были общие интересы, то объединявшие, то разъединявшие их и служившие причиной постоянных войн, именем Марана обозначали продажных прелестниц в самом широком понимании этого слова. В то время куртизанки занимали в обществе столь высокое место, о каком в наши дни ничто не может дать представления. Только Нинон де Ланкло и Марион Делорм играли во Франции роль Каталин, Империй[[13]](#footnote-13), Маран, которые в предшествующие века объединяли у себя носителей сутаны, судейской мантии и шпаги. Одна из Империй в припадке раскаяния выстроила в Риме церковь подобно Родопе, в древности воздвигнувшей пирамиду в Египте. Имя Марана, данное этой странной семье в поношение, в конце концов стало ее собственным и облагородило укоренившееся в ней распутство неоспоримой его давностью.

И вот однажды Марана, уже Марана XIX века, — неизвестно, было ль то в пору ее богатства или нищеты (это осталось тайной между нею и богом, несомненно только, что это случилось в час раскаяния и скорби), — почувствовав, что она погрязла в смрадном болоте, устремилась душой к небесам. И тогда она прокляла ту кровь, что текла в ее жилах, прокляла себя, трепеща от мысли, что у нее может родиться дочь, и поклялась, как клянутся такие женщины, клятвой, исполненной честности и воли каторжника, самой твердой воли, самой надежной честности, какая только существует на земле, поклялась перед алтарем, незыблемо веря в его святость, вырастить свою дочь добродетельным существом, праведницей, чтобы оборвать эту длинную цепь плотских грехов и поколений падших женщин, дав ангела, заступницу за всех них перед небом. Обет был дан, потом кровь Маран заговорила, и она снова бросилась в омут прежней жизни. Однако мысль эту она теперь прочно хранила в сердце. Но вот ей случилось полюбить неистовой любовью куртизанки, как Генриетта Вильсон любила лорда Понсонби, как мадмуазель Дюпюн любила Болингброка, как маркиза Пескара[[14]](#footnote-14) любила своего мужа. Но нет, она не любила, а боготворила белокурого, женственного мужчину, которого наделила не существующими в нем добродетелями, в себе же видела только пороки. И от этого слабого человека, в безрассудном браке, которому и бог и люди отказывают в благословении, который следовало бы оправдать счастьем, хотя и счастье не оправдывает его греховность, в этом браке, за который иногда краснеют даже люди, лишенные стыда, она родила дочь и решила спасти ее для светлой жизни, для целомудрия и чистоты, какими сама не обладала. С тех пор, была ли Марана счастлива или несчастна, жила ли в богатстве или нищете, в ее сердце горело чистое чувство, самое прекрасное из всех человеческих чувств, ибо оно самое бескорыстное. В любви еще есть свой эгоизм, в материнской любви его уже не существует. Марана была матерью больше, чем всякая другая мать, ибо для нее в ее вечных крушениях материнство могло стать якорем спасения. Свято выполнить хоть часть своего земного долга, дав небесам еще одного ангела, — разве это не было большим, чем позднее раскаяние, и единственной чистой молитвой, какую она смела вознести к богу? И когда ее Мария-Хуана-Пепита (мать готова была дать ей в защитницы всех великомучениц из жития святых), когда это крошечное создание было ей даровано, она возымела столь высокое понятие о величии матери, что умолила грех дать ей передышку. Марана стала добродетельной и жила в одиночестве. Ни пиров больше, ни разгульных ночей, ни любви! Отныне все ее богатство, вся радость заключались в хрупкой колыбели дочери. Звук детского голоска стал для нее звонким родником оазиса среди раскаленной пустыни жизни. Ее чувство не соразмерить было ни с чьим другим. Не вмещало ль оно в себе все земные чувства и небесные чаяния? Марана не хотела порочить дочь новым грязным пятном, пятно же ее происхождения решила смыть всякими социальными привилегиями, а потому потребовала, чтобы молодой отец дал ребенку состояние и свое имя. Ее дочь звалась уже не Хуаной Марана, а Хуаной ди Манчини. Миновало семь лет радости и поцелуев, упоения, счастья, и бедная Марана рассталась со своим кумиром, чтобы Хуане не пришлось согнуть голову под тяжестью наследственного позора. Мать нашла в себе мужество отказаться от своего детища ради его же блага и с великой горестью сыскала для него другую мать, другую семью, которая служила б ему примером чистой и нравственной жизни. Отречение матери от своего ребенка — акт либо возвышенный, либо ужасный. Здесь как не назвать его возвышенным?

В Таррагоне счастливый случай свел ее с четой Лагуниа при таких обстоятельствах, которые позволили ей оценить глубокую порядочность мужа и безупречную добродетель жены. Марана стала для них ангелом-спасителем. Купцу в это время угрожала потеря состояния и честного имени; он нуждался в срочной и тайной помощи. Марана вручила ему деньги, составлявшие все приданое Хуаны, не потребовав ни расписки, ни процентов. Для нее, по ее юридическим понятиям, договор был делом совести, стилет — правосудием слабых, а бог — верховным судом. Открывшись донне Лагуниа в своем горестном положении, она вверила дочь и деньги старой испанской чести, чистой, незапятнанной, какой дышал этот старинный дом. Бездетная донна Лагуниа была безмерно счастлива, взяв на воспитание приемыша. Куртизанка покинула свою ненаглядную Хуану, уверенная, что обеспечила будущее девочки, нашла для нее мать, которая воспитает из нее Хуану ди Манчини, а не Хуану Марана. Покидая простое, скромное жилище купца, где процветали мещанские семейные добродетели, где вера, святость чувств и чести, казалось, были разлиты в самом воздухе, несчастная куртизанка, мать, отлученная от своего ребенка, сумела справиться со своим горем, видя в мечтах Хуану чистой девушкой, женой и матерью, счастливой матерью в течение долгой жизни. Она уронила на пороге дома слезу, одну из тех слез, которые ангелы поднимают с земли. С этого дня скорби и надежды Марана, влекомая непреодолимыми предчувствиями, трижды приезжала в Таррагону, чтоб увидеть свою дочь. Первый раз она явилась, когда Хуана опасно занемогла.

— Я знала это! — сказала она Пересу.

Вдали от Хуаны мать увидела ее во сне умирающей. Марана выходила дочь, бодрствуя у ее постели ночи напролет, а когда девочка уже выздоравливала, поцеловала ее в лоб, спящую, и удалилась, не выдав себя. Мать изгоняла куртизанку. Во второй свой приезд Марана пришла в церковь, где Хуана ди Манчини впервые причащалась. Одетая в простое темное платье, спрятавшись в уголке за колонной, изгнанная мать узнала себя в дочери, какой она была когда-то: с небесным лицом ангела, чистая, как снег, только что выпавший на вершинах Альп. Сохраняя черты куртизанки даже в своей материнской любви, Марана почувствовала в глубине души такую ревность к приемной матери Хуаны, какой не испытывала ко всем своим любовникам, вместе взятым, и поспешила выйти из церкви, ибо бессильна была побороть в себе смертельную ненависть к донне Лагуниа, видя ее сияющую, счастливую, будто и в самом деле она была родной матерью своей воспитанницы. Наконец, последняя встреча Мараны с дочерью произошла в Милане, когда купец поехал туда с женой и питомицей. Марана, проезжая по Корсо во всем своем великолепии, достойном какой-нибудь царственной особы, пронеслась мимо дочери, не узнавшей ее. Ужасная мука! Ей, Маране, осыпаемой поцелуями, недоставало одного-единственного поцелуя, за который она отдала бы все остальные, невинного, радостного поцелуя, каким дочь дарит свою мать, мать, почитаемую, блистающую всеми семейными добродетелями. Значит, живая Хуана умерла для нее! Одна мысль приободрила куртизанку, к которой герцог ди Лина в эту минуту обратился со словами:

— Что с вами, прелесть моя?

Чудесная мысль! Отныне Хуана спасена. Пусть она даже станет смиреннейшей из женщин, но не презренной куртизанкой, которой любой мужчина может сказать: «Что с вами, прелесть моя?»

Свои обязательства купец с женой выполнили с полной добросовестностью. Состояние Хуаны, ставшее их собственным, выросло в десять раз. Перес ди Лагуниа, богатейший в провинции негоциант, питал к своему приемышу почти суеверное чувство. Ведь появление в его доме этого небесного существа не только спасло старинную фирму Лагуниа от бесчестия и разорения, но принесло ей и неслыханное процветание. Его жена — золотое сердце, женщина, полная чуткости, — воспитала Хуану в благочестии и невинности, столь же чистой, сколь и прекрасной. Хуана была одинаково достойна стать супругой знатного вельможи или богача-купца; она обладала всеми качествами, необходимыми для блестящей судьбы. Не случись описываемых событий, Перес, мечтавший съездить в Мадрид, выдал бы ее за какого-нибудь испанского гранда.

— Не знаю, где сейчас Марана, — сказал Перес в заключение. — Но в каком бы уголке земного шара она ни находилась, стоит ей узнать, что французские войска захватили нашу провинцию и взяли приступом Таррагону, она примчится сюда, чтоб охранять свою дочь.

Этот рассказ изменил намерения итальянского капитана. Он больше не желал сделать Хуану ди Манчини маркизой ди Монтефьоре, ибо узнал кровь Мараны в кокетливой игре глаз, которой девушка ответила ему сквозь жалюзи, в хитрости, на какую она пустилась, чтоб удовлетворить свое любопытство, в последнем взгляде, который она ему бросила, уходя. Развратнику угодно было иметь супругой высокодобродетельную женщину. Это приключение сулило много опасностей, но таких, которых не устрашится даже не очень отважный мужчина, ибо они придают остроту любви и наслаждениям.

Ученик, ночующий на прилавке, служанка, расположившаяся в кухне, как на бивуаке, Перес с женой, несомненно, спящие чутким стариковским сном, старый дом, где отдавался каждый звук, драконовский надзор днем — все было препятствием, все делало его замысел неосуществимым. Но против всех препятствий *за* Монтефьоре была кровь куртизанки, бурлившая в жилах этой сжигаемой любопытством полуитальянки, полуиспанки, девственницы, нетерпеливо жаждущей любви. Страсть, девушка, Монтефьоре — втроем могли обмануть целую вселенную.

Монтефьоре, побуждаемый инстинктом мужчины, искушенного в любовных приключениях, и теми смутными, ничем не объяснимыми надеждами, которые мы удивительно верно зовем предчувствиями, провел весь вечер у окна, упорно всматриваясь в ту часть дома, где, как он предполагал, находился тайник, в котором супруги укрыли свет и отраду своей старости. Склад, устроенный на антресолях — воспользуемся этим французским словом, чтобы помочь читателю разобраться во внутреннем расположении дома, — разобщал молодых людей. Поэтому капитан не мог прибегнуть к многозначительным постукиваниям, которые служат влюбленным сигналами, к тому условному языку, который они в подобном положении умеют придумать. Но ему пришел на помощь случай, а может быть, сама девушка! Подойдя к окну, он увидел на темной стене, окружавшей двор, большое светлое пятно, посреди которого вырисовывался силуэт Хуаны. Повторяющиеся движения руки и поза заставляли думать, что она причесывается на ночь.

«Одна ли она? — размышлял Монтефьоре. — А что, если привязать к шнурку записку и, вложив в нее для тяжести несколько монет, стукнуть в ее окно? Нет сомнения, что свет идет из ее комнаты. Рискнем!..»

Он мигом настрочил послание — истое послание офицера, стараниями родителей сосланного на Эльбу и разжалованного в солдаты, опустившегося, когда-то изысканного маркиза, теперь капитана, ведающего обмундированием; затем он сплел шнурок из всего, что нашлось для этого под рукой, привязал к нему записку, завернув в нее несколько серебряных экю, и неслышно опустил ее до середины светлого круга.

«Тени на стене скажут мне, с ней ли мать или служанка, — решил Монтефьоре, — и если она не одна, я живо подтяну к себе шнурок». Но когда после его многократных, вполне понятных усилий серебро ударилось о стекло, на стене отразилась единственная тень — стройный силуэт Хуаны. Девушка тихонько приоткрыла окно, увидела записку, взяла ее и, не отходя, стала читать. В ней Монтефьоре называл себя, просил о свидании и в духе старых романов предлагал Хуане ди Манчини руку и сердце. Подлая и пошлая хитрость, всегда имеющая верный успех! В возрасте Хуаны не усугубляет ли опасности душевное благородство? С большой тонкостью один современный поэт сказал: «Женщина сдается лишь во всей своей силе». Возлюбленный притворяется, будто не верит, что ему отвечают взаимностью, именно тогда, когда его любят всего сильнее. Девушка, доверчивая, гордая, рада б измыслить всякие жертвы и принести их, но она недостаточно знает свет и людей, чтобы остаться спокойной среди бури поднявшихся в ней страстей, подавив презрением человека, готового погубить молодую жизнь в искупление ее мнимой вины перед ним.

С возникновением в обществе его высокого устройства молодая девушка стоит перед мучительным выбором между расчетами осторожной добродетели и тяжкими последствиями ошибки. Она часто теряет свою первую, быть может, самую прекрасную любовь, если ей воспротивилась, или теряет супруга, если проявила неосторожность. При самом беглом взгляде на превратности социальной жизни в Париже невозможно усомниться в необходимости религии, зная, что, не будь ее, число совращенных девушек возрастало бы каждый вечер. Но Париж лежит на 48-м градусе широты, а Таррагона — на 41-м. Стародавний вопрос климата и поныне еще выручает романистов, оправдывая и неожиданные развязки, и опрометчивость в любви, и сопротивление ей!

Глаза Монтефьоре были прикованы к грациозному силуэту, выделявшемуся среди светлого круга. Он и Хуана друг друга не видели. Злополучный, весьма неудобно расположенный фриз лишал их выгод немого общения, которое возможно между двумя влюбленными, когда они высовываются из своих окон. Оттого все помыслы и внимание капитана были сосредоточены на этом круге света — быть может, молодая девушка, сама того не зная, по наивности, своими движениями поможет ему прочесть ее мысли. Но нет! Странные движения Хуаны не оставляли Монтефьоре ни малейшей надежды. Она, видимо, потешалась над ним, разрезая ножницами его записку. Добродетель, мораль в своих подозрениях зачастую следуют тем же внезапным догадкам, какие ревность внушила Бартоло[[15]](#footnote-15) в комедии: у Хуаны не было ни чернил, ни пера, ни бумаги, — что ж! Она ответила с помощью ножниц. Затем быстро привязала записку к шнурку, офицер подтянул его к себе, развернул записку и, поднеся к лампе, прочел на свету вырезанное ажурными буквами слово: «Приходите!»

«Легко сказать: «Приходите!» — подумал он. — А яд, а мушкет, а кинжал Переса? А ученик, только что уснувший на прилавке? А служанка в своем гамаке? А этот дом, звучный, как бас миланской оперы; ведь я даже отсюда слышу храп старика Переса! «Приходите!» Неужели ей нечего терять?»

Убийственная мысль! Одни развратники могут быть столь логичны и наказывать женщину за ее самоотверженность. Мужчина выдумал Сатану и Ловеласа[[16]](#footnote-16); но чистая девушка — это ангел, которому он ничего не может приписать, кроме своих пороков. Она так велика, так прекрасна, что он не в силах ни возвеличить ее, ни украсить, и ему дана только роковая способность запачкать ее, вовлекая в свою грязную жизнь. Монтефьоре дождался самого глухого часа ночи и, вопреки своим размышлениям, спустился по лестнице, сняв обувь и вооружившись пистолетами; он ступал шаг за шагом, останавливаясь, чтобы прислушаться к тишине, протягивая руки, нащупывая ступени, почти зрячий в темноте и готовый вернуться к себе при малейшем препятствии. Итальянец облачился в парадный мундир, надушил свою черную шевелюру; он блистал тем особым изяществом, какой наряд и забота о своей внешности придают природной красоте, ибо в подобных случаях у большинства мужчин кокетства столько же, сколько у женщин. Монтефьоре удалось без помехи добраться до потайной двери комнатки, где жила Хуана; тайник был устроен в углу дома, который расширялся в этом месте одним из тех прихотливых углублений, к каким часто прибегают там, где, в силу дороговизны земельных участков, люди вынуждены строить дома вплотную друг к другу. Эта келья целиком принадлежала Хуане, девушка проводила в ней весь день, вдали от людских взоров. До сих пор она спала возле своей приемной матери, но теснота мансарды, куда перебрались супруги, не позволила им взять к себе свою питомицу. Таким образом, донна Лагуниа оставила девушку под охраной потайной двери, запертой на ключ, под покровом набожных мыслей, самых действенных, ибо они стали суевериями, под защитой врожденной гордости и стыдливости мимозы, делавших Хуану ди Манчини исключением среди представительниц ее пола. Она одинаково обладала трогательными добродетелями и самыми пылкими страстями. Для того и понадобилась скромность и святость этой однообразной жизни, чтоб усмирить, остудить кипевшую в ней кровь, которую ее приемная мать называла искушениями дьявола. Тусклая полоска света, прочерченная на полу дверной щелью, помогла Монтефьоре найти тайник, и он осторожно постучался. Хуана отперла. Монтефьоре вошел, весь трепеща, и увидел на лице затворницы выражение наивного любопытства, истинного восхищения и полного неведения опасности. С минуту он стоял, пораженный святостью картины, представшей перед ним.

Стены комнатки были обтянуты штофом с лиловыми цветочками по серому полю, небольшой ларь черного дерева, старинное зеркало, большое старое кресло тоже черного дерева, обитое таким же штофом; дальше — стол с гнутыми ножками, возле стола стул, на полу ковер, вот и все. Но на столе — цветы и начатое рукоделие, но в глубине комнаты — узкая кровать, на которой Хуана грезила во сне; над ней три картины; в изголовье — распятие, чаша со святой водой, молитва в рамке, писанная золотом. От цветов шел слабый аромат, свечи мягко озаряли комнатку. Все полно было спокойствия, чистоты, святой невинности. Мечты и заветные думы Хуаны, особенно сама она, сообщали вещам свое очарование: во всем здесь, казалось, светилась ее душа; это была жемчужина в своей перламутровой раковине. Хуана, вся в белом, прекрасная в своей неповторимой красоте, отложившая четки, чтобы призвать любовь, внушила б уважение даже Монтефьоре, если бы и тишина, и ночь, и Хуана не дышали любовью, если бы белое ложе не являло взору приоткрытых на ночь простынь и подушки — поверенной тысячи смутных желаний. Монтефьоре долго стоял, опьяненный счастьем, — быть может, так сатана смотрит на просинь неба среди облаков, ограждающих его неприступной стеной.

— Едва я вас увидел, я полюбил вас, — сказал он на чистом тосканском наречии мелодичным голосом итальянца. — Отныне в вас моя душа и жизнь, — навсегда, если вы того пожелаете.

Хуана слушала, впивая его слова, которые язык любви делал неотразимыми.

— Бедняжка! Как вы могли так долго жить в этом мрачном доме и не умереть с тоски? Вы, созданная для того, чтобы царить в свете, жить в княжеском дворце, блистать на празднествах, гордиться восторженным поклонением, которое вы порождаете, видеть всех у своих ног, затмить самые великолепные сокровища сиянием вашей красоты, в которой вы никогда не встретите себе равной, — вы жили здесь одна, с этой купеческой четой?

Корыстный вопрос! Ему хотелось знать, не было ль у Хуаны любовника.

— Да! — ответила она. — Но кто вам поведал самые сокровенные мои мысли? Вот уже несколько месяцев, как я смертельно тоскую. Да, я предпочла бы умереть, чем долго еще оставаться в этом доме. Взгляните на это вышивание, в нем нет стежка, который не сопровождался бы множеством ужасных мыслей. Сколько раз мне хотелось убежать и кинуться в море! Почему? Теперь я и сама не знаю... Мелкие детские горести, такие ничтожные и все же такие мучительные... Нередко я обнимала мать, целовала ее с отчаянием, прощаясь с ней навеки, и думала: «Завтра я убью себя». Но вот я жива. Самоубийцы попадают в ад, а я так сильно боялась ада, что покорилась необходимости жить, вставать, ложиться, работать всегда в одни и те же часы, делать одно и то же. А между тем родители меня обожают. Я очень плохая, я это часто говорю своему духовнику.

— Значит, вы всегда жили здесь, не зная ни развлечений, ни удовольствий?

— О, я не всегда была такой! До пятнадцати лет церковная музыка, пение, празднества мне нравились. Я была счастлива, чувствуя себя безгрешной, как ангелы, радуясь, что могу каждую неделю причащаться, — словом, я любила бога. Но за эти три года я мало-помалу совсем переменилась. Сначала мне захотелось, чтоб у меня были здесь цветы, и я развела самые красивые. Потом мне хотелось... Но теперь... — Она умолкла на мгновение. — Теперь мне больше ничего не хочется, — договорила она, улыбаясь Монтефьоре. — Разве вы не написали мне сейчас, что всегда будете меня любить?

— Да, моя Хуана, — нежно произнес Монтефьоре, обняв прелестную девушку за талию и крепко прижимая ее к груди. — Но позволь мне говорить с тобой, как ты говоришь с богом. Ведь ты прекраснее самой девы Марии! Слушай! Клянусь тебе, — продолжал он, целуя ее волосы, — клянусь пред твоим лицом, как пред красивейшим из алтарей, сделать тебя своим божеством, осыпать всеми богатствами мира. Твоими станут мои кареты, мой дворец в Милане, все драгоценности и алмазы моего старинного рода. Я буду каждый день дарить тебе новые и новые украшения, дам тебе тысячи наслаждений, все радости мира.

— Ах, всему этому я очень рада! — сказала она. — Но сердце говорит мне, что милее всего на свете будет мне мой дорогой супруг. Mio caro sposo! — добавила она.

Невозможно передать французскими словами ту дивную мягкость и любовную прелесть звуков, которые итальянский язык и произношение придают этим трем восхитительным словам. Ведь итальянский был родным языком Хуаны.

— Тогда я вновь обрету дорогую мне веру, — продолжала она, бросая на Монтефьоре взгляд, сияющий небесной чистотой. — Вы и бог, бог и вы. Да неужели вы станете моим супругом? — спросила она. — Конечно! — воскликнула Хуана, помолчав. — Прошу вас, посмотрите на эту картину, которую отец привез мне из Италии.

Взяв свечу, она знаком подозвала Монтефьоре и над изножьем кровати показала ему изображение архангела Михаила, повергающего наземь дьявола.

— Взгляните, разве у него не ваши глаза? Увидев вас на улице, я сочла нашу встречу небесным предзнаменованием. По утрам, в сладких грезах, прежде чем мать звала меня на молитву, я столько раз созерцала архангела на этом образе, что в конце концов мысленно назвала его своим супругом. Боже мой, я говорю с вами, как с самой собою. Вероятно, я кажусь вам безумной; но если бы вы знали, как велика потребность у бедной затворницы высказать свои мысли, которые ее душат! Одна, я разговаривала с этими цветами, с букетиками на обоях, и мне кажется, они понимали меня лучше, чем мои родители, всегда такие угрюмые.

— Хуана! — сказал Монтефьоре, беря ее руки в свои и целуя их со страстью, горевшей в его глазах, в движениях, в звуке его голоса. — Говори со мной, как со своим супругом, как с самой собой. Я, как и ты, много выстрадал. Нам понадобится мало слов, чтобы рассказать о своем прошлом, но их у нас не хватит, чтобы наговориться о нашем будущем счастье. Положи мне руку на сердце, чувствуешь, как оно бьется? Обещаемся перед богом, который видит и слышит нас, всю жизнь быть верными друг другу. Постой, возьми это кольцо... И дай мне свое.

— Отдать мое кольцо! — с ужасом сказала Хуана.

— Но почему же нет? — спросил Монтефьоре, смущенный такой наивностью.

— Ведь его прислал мне наш святой отец, папа! Его надела мне на палец какая-то прекрасная дама, которая вскормила меня, поместила в этот дом и велела всегда хранить это кольцо!

— Хуана, значит, ты меня не любишь!

— Ах, возьмите его! Что значу я в сравнении с вами?

Она протягивала кольцо, вся дрожа, устремив на Монтефьоре вопрошающий и проникновенный, ясный взор. В этом кольце была она вся, и она его отдавала ему.

— О моя Хуана! — воскликнул Монтефьоре, сжимая ее в объятиях. — Надо быть чудовищем, чтоб обмануть тебя! Я буду вечно тебя любить.

Хуана задумалась. Монтефьоре решил, что для первой встречи не следует отваживаться на большее, чтобы не вспугнуть чистую девушку, неосторожную скорее по чистоте душевной, чем по страстной своей натуре, и положился на будущее, на свою красоту, власть которой знал, на невинное обручение кольцами и на самый прекрасный, самый простой и сильный из всех обрядов — на брачный союз сердец. Всю эту ночь и весь следующий день воображение Хуаны должно стать его сообщником. Оттого он постарался остаться столь же почтительным, сколь нежным. Подавляя бурную страсть и вожделение, он сумел говорить вкрадчиво, найти нежные и ласковые слова. Монтефьоре посвятил наивную девушку в свои планы на будущее, обрисовал свет в самых блестящих красках, обсудил, как им устроить совместную жизнь, — а ведь это так нравится юным девушкам! — спорил с ней и заключал соглашения, которые придают любви непреложные права и реальность. Затем, условившись о постоянном часе их ночных свиданий, он оставил Хуану счастливой, но уже изменившейся. Чистой, святой Хуаны больше не существовало — в последнем взгляде, который она ему бросила, в грациозном движении, каким подставила лоб губам возлюбленного, было страсти больше, чем девушке дозволено ее выказывать. Всему виной были одиночество, скучные занятия, совсем не вязавшиеся с ее натурой. Чтобы вернуть Хуане благоразумие и добродетель, ее следовало теперь исподволь приучать к свету или скрыть от него навсегда.

— Завтрашний день покажется мне очень долгим, — сказала она, когда он, прощаясь, пока еще целомудренно поцеловал ее в лоб. — Прошу вас, задержитесь в зале подольше и говорите громче, чтоб я могла услышать ваш голос. Он проникает мне в душу.

Монтефьоре, ясно представивший себе всю жизнь Хуаны, был очень доволен, что сумел обуздать свою страсть и тем вернее обеспечить ее удовлетворение. Он благополучно вернулся в свою комнату. Протекло десять дней; ни единое событие не нарушило покоя и уединения старого дома. Монтефьоре опутал своей итальянской, вкрадчивой лестью старого Переса, донну Лагуниа, ученика, даже служанку: все его полюбили. Но, несмотря на доверие, которое он им внушил, он ни разу не попросил разрешения увидеть Хуану, открыть ему дверь ее прелестной кельи. Юная итальянка, сгоравшая от желания видеть своего возлюбленного, часто его о том просила, но он из осторожности неизменно ей в этом отказывал. Зато он в полной мере воспользовался завоеванным доверием и всем своим опытом, чтобы усыпить бдительность старых супругов. Они даже не удивлялись, что он, военный человек, поднимается с постели не раньше полудня, — капитан сказывался больным. Любовники жили теперь только ночью, с той минуты, как все в доме засыпало. Не будь Монтефьоре одним из тех распутников, которым привычка к наслаждениям позволяет в любых случаях сохранять хладнокровие, они бы десять раз погибли за эти десять дней. Юный любовник, захваченный искренней первой любовью, уступил бы тем очаровательным безрассудствам, которым так трудно противиться. Но итальянец не уступал Хуане, даже когда она надувала губки, когда безумствовала, когда она, как цепью, обвивала ему шею своими длинными волосами, чтоб его удержать. Вот почему самому проницательному человеку стоило бы большого труда разгадать тайну их ночных свиданий. Надо полагать, что Монтефьоре, уверенный в успехе, испытывал невыразимое наслаждение соблазна, медленно разжигая огонь, который понемногу разгорается и наконец вспыхивает всепожирающим пламенем. На одиннадцатый день за обедом он счел необходимым под строгим секретом признаться старому Пересу, что причиной немилости к нему семьи является его неравный брак. Это лживое признание было ужасным среди той драмы, которая разыгрывалась по ночам в этом доме. Монтефьоре подготовил развязку, заранее наслаждаясь ею, словно художник, любящий свое искусство. Он рассчитывал тотчас же без сожаления покинуть этот дом и забыть о своем романе. А когда Хуана, долго его прождав, быть может, рискуя жизнью, спросит Переса, где его постоялец, старик, не подозревая всего значения своего ответа, скажет ей: «Маркиз ди Монтефьоре примирился с семьей. Родные согласны принять его жену, и он уехал, чтобы ее представить».

Тогда Хуана!.. Он никогда не задавался вопросом, что станется с Хуаной, но он уже хорошо узнал ее благородство, чистосердечие, все ее достоинства и был уверен в ее молчании...

У кого-то из генералов он добился поручения в отъезд. Три дня спустя, накануне отбытия, желая, должно быть, подобно тигру, пожрать добычу до конца, Монтефьоре не поднялся вечером к себе, а сразу после обеда пробрался к Хуане, чтобы продлить прощальную ночь. Хуана, истая испанка, истая итальянка, значит, страстная вдвойне, была безгранично счастлива его смелостью, говорившей о пылкой любви! Изведать в чистом супружеском союзе бурные наслаждения запретной связи, прятать мужа за пологом своей кровати, почти обманывать приемных родителей, а в случае необходимости иметь право сказать им: «Я маркиза ди Монтефьоре!» — не было ль это праздником для молодой романтической девушки, которая уже три года мечтала о любви, сопряженной со всевозможными опасностями? Портьеры на двери опустились, скрывая их безумства, их счастье, как завеса, которую нам не следует поднимать.

Было около девяти часов; купец с женой читали вечерние молитвы; вдруг шум кареты, запряженной несколькими лошадьми, гулко отдался в узком переулке; послышались торопливые удары в дверь лавки. Служанка кинулась отпирать. Тотчас влетела в старинную залу женщина в роскошной одежде, хотя только что вышла из берлины, забрызганной грязью бесчисленных дорог. Эта карета пересекла Италию, Францию, Испанию. То была Марана! Марана, которая, несмотря на свои тридцать шесть лет и бесчисленные любовные похождения, была во всем блеске своей belta folgorante[[17]](#footnote-17), как говорили о ней пылкие ее обожатели. Марана, признанная фаворитка короля, находившаяся на вершине своей жизни, купавшаяся в золоте, избалованная мадригалами, благовониями и шелками, покинула Неаполь, празднества Неаполя, небо Неаполя, узнав от своего царственного любовника о событиях в Испании и осаде Таррагоны.

— В Таррагону, прежде, чем Таррагона будет взята! — воскликнула она. — Через десять дней я должна быть в Таррагоне!

И, забыв про королевский двор, про короля, она помчалась в Таррагону, снабженная чуть ли не императорским указом, снабженная золотом, которое позволило ей пересечь французские владения со скоростью и блеском метеора. Для матерей не существует расстояния, настоящая мать все предчувствует и видит свое дитя, находясь с ним на разных полюсах земного шара.

— Моя дочь! Моя дочь! — кричала Марана.

При звуках этого голоса, при этом неожиданном вторжении, при виде этой невенчанной королевы у купца и его жены выпал из рук молитвенник; голос этот был подобен раскатам грома, а глаза Мараны метали молнии...

— Она там, — спокойно ответил купец, оправившись от волнения, вызванного внезапным появлением, взглядом и голосом Мараны. — Она там... — повторил он, указывая на келью Хуаны. — Но она не больна, она, как всегда...

— Здорова, совершенно здорова, — закончила донна Лагуниа.

— Боже великий! Ввергни меня теперь в ад на вечные муки, если на то будет твоя воля! — вскричала Марана и, обессиленная, полумертвая, рухнула в кресло.

Лихорадочный румянец, вызванный тревогой, мгновенно погас, сменившись бледностью. У Мараны хватило сил перенести страдания, но они изменили ей в радости. Радость потрясла ее больше горя, ибо заключала в себе отголоски горя и томление радости.

— Однако как вам это удалось? — спросила она. — Ведь Таррагона взята приступом.

— Да, — ответил Перес. — Но ведь вы видите меня живым, как же вы могли задать мне такой вопрос? Разве не пришлось бы убить меня прежде, чем добраться до Хуаны?

При этих словах куртизанка схватила грубую руку Переса и поцеловала, роняя на нее слезы. Они были самым дорогим из всего, что могла назвать своим на земле эта женщина, никогда не плакавшая.

— Мой добрый Перес, — сказала она наконец. — Но ведь у вас в доме, должно быть, живут военные?

— Только один, — ответил испанец. — К счастью, нам попался весьма порядочный человек. Бывший испанский подданный, теперь итальянский, который ненавидит Наполеона; человек женатый, холодный. Он поздно встает и рано ложится. В настоящее время он даже болеет.

— Итальянец? Как его имя?

— Капитан Монтефьоре.

— Не маркиз ли это Монтефьоре?

— Да, синьора, он самый.

— Он видел Хуану?

— Нет, — ответила донна Лагуниа.

— Вы ошибаетесь, жена, — возразил Перес. — Маркиз ее видел, правда, в течение минуты, не больше, но, помнится, он на нее взглянул, когда Хуана вошла сюда во время ужина.

— Ах! Я хочу видеть свою дочь!

— Нет ничего проще, — сказал Перес. — Она спит. Но если Хуана оставила ключ в замке, ее придется разбудить.

Поднявшись, чтобы взять запасный ключ, купец случайно посмотрел в высокое окно. Там, в кругу света, отбрасываемого окошком девичьей комнатки Хуаны на темную стену, замыкавшую двор, он увидел тени двух фигур в такой позе, какой до грациозного Кановы не умел изображать ни один скульптор. Испанец обернулся.

— Не знаю, куда я девал ключ, — сказал он Маране.

— Вы очень бледны! — заметила она.

— Сейчас вы узнаете, почему, — ответил Перес, бросаясь за кинжалом, и, схватив его, с силой ударил им в дверь Хуаны, крича:

— Хуана! Отоприте! Отоприте!

В голосе его слышалось такое страшное отчаяние, что обе женщины похолодели. Хуана не отперла, ей понадобилось время, чтобы спрятать Монтефьоре. Она не могла слышать того, что происходило в зале: двойные портьеры на двери заглушали слова.

— Сударыня, я вам солгал, заявив, что не знаю, где ключ. Вот он, — сказал Перес, вынимая ключ из буфета. — Но он бесполезен. Хуана оставила свой в замочной скважине; дверь ее заперта изнутри. Мы обмануты, жена, — сказал он, повернувшись к донне Лагуниа. — В спальне Хуаны — мужчина.

— Клянусь вечным спасением, этого не может быть! — вскрикнула жена.

— Не клянитесь, донна Лагуниа. Наша честь умерла, и эта женщина... — указал он на Марану, которая, поднявшись, стояла неподвижно, как громом пораженная, — эта женщина вправе нас презирать. Она спасла нам жизнь, состояние, честь, а мы только и сумели, что сберечь ее деньги... Хуана, отоприте, или я выломаю дверь! — крикнул он.

И его голос, нарастая в силе, пошел греметь по всему дому вплоть до чердака. Но сам старик был холоден и спокоен. Он держал в руках жизнь Монтефьоре и собирался смыть укоры своей совести всей кровью итальянца.

— Уйдите, уйдите, уйдите все! — закричала Марана. Быстро, как тигрица, она бросилась за кинжалом и, вырвав его из рук оторопевшего Переса, спокойно добавила: — Уходите все: и вы, и ваша жена, и служанка, и ученик. Сейчас здесь произойдет убийство. Французы могут всех вас расстрелять. Не вмешивайтесь в это дело: оно касается меня одной. Между мной и моей дочерью никого не должно быть, кроме бога. Что до этого человека, то он принадлежит мне. Никто в мире не вырвет его из моих рук. Идите же, идите, я вас прощаю. Я вижу, эта девушка — Марана. Вы со всей вашей верой и честью оказались слишком слабы, чтобы побороть мою кровь.

Марана испустила тяжелый вздох, но не проронила ни единой слезинки. Она все потеряла, но она умела страдать, ибо была куртизанкой. Дверь отворилась. Марана забыла обо всем, и Перес, сделав знак жене, остался на своем посту. Старый испанец, неуступчивый в вопросах чести, хотел помочь мщению обманутой матери. Хуана, озаренная мягким светом, вся в белом, спокойно вышла на середину своей комнаты.

— Что вам от меня угодно? — спросила она.

Марана не могла подавить легкую дрожь.

— Перес, — спросила она, — есть ли другой выход из этой комнаты?

Перес ответил отрицательным жестом, и, поверив ему, куртизанка вошла к дочери.

— Хуана, я ваша мать, ваш судья, и вы поставили себя в единственное положение, в каком я смею вам открыться. Вы опустились до меня, вы, которую я хотела видеть на высоте небес. Ах, как вы низко пали! Вы прячете здесь любовника?

— Сударыня, здесь не должен и не может находиться никто, кроме моего супруга. Я маркиза ди Монтефьоре.

— Значит, их две? — суровым своим голосом произнес старый Перес. — Мне он сказал, что женат.

— Монтефьоре, любовь моя! — воскликнула Хуана, раздвигая занавеси кровати, за которыми прятался офицер. — Иди сюда. Эти люди клевещут на тебя.

Итальянец показался, бледный, как смерть. Он видел кинжал в руках Мараны, и он знал Марану. Поэтому он кинулся из комнаты и закричал во весь голос:

— Помогите! Помогите! Здесь убивают француза! Солдата Шестого линейного, скорее бегите за капитаном Диаром! Помогите!..

Перес крепко схватил маркиза и зажал ему рот своей широкой ладонью, но куртизанка остановила его, сказав:

— Держите его хорошенько, и пусть кричит. Откройте все двери, распахните их настежь и уходите, еще раз прошу вас об этом. Что касается тебя, — обратилась она к Монтефьоре, — кричи, зови на помощь. Как только послышатся шаги солдат, этот клинок пронзит твое сердце. Ты женат? Отвечай!

Монтефьоре, упавший на пороге двери, в двух шагах от Хуаны, ничего не слышал, ничего не видел, кроме клинка кинжала, ослеплявшего его своим блеском.

— Значит, он меня обманул? — медленно произнесла Хуана. — Он сказал мне, что свободен.

— А мне сказал, что он женат, — угрюмо повторил Перес.

— Матерь божья! — вскрикнула донна Лагуниа.

— Ответишь ты наконец, грязная душа? — шепотом сказала Марана, наклонившись к уху маркиза.

— Ваша дочь... — заговорил Монтефьоре.

— Дочь, которая у меня была, умерла или сейчас умрет, — сказала Марана. — У меня нет больше дочери. Не произноси этого слова. Отвечай, ты женат?

— Нет, сударыня, — вымолвил наконец Монтефьоре, желая выиграть время. — Я готов жениться на вашей дочери.

— У тебя благородное сердце, Монтефьоре! — сказала Хуана, вздохнув с облегчением.

— Тогда зачем бежать и звать на помощь? — спросил испанец.

Ужасное прозрение!

Хуана, ломая руки, упала в кресло. В это мгновение на улице раздался шум, особенно явственный среди царившей в зале глубокой тишины. Солдат Шестого линейного полка, случайно проходивший по улице в ту минуту, как Монтефьоре звал на помощь, бросился сообщить об этом Диару. К счастью, квартирмейстер оказался у себя и теперь явился в сопровождении нескольких товарищей.

— Зачем бежать? — переспросил Монтефьоре, услышав голос своего друга. — То, что я вам говорил, — правда... Диар! Диар! — закричал он пронзительным голосом.

Но по одному знаку хозяина, который хотел, чтобы все в доме участвовали в этом убийстве, ученик запер дверь, и солдатам пришлось ее выломать. Однако прежде чем они вошли, Марана успела нанести виновному удар кинжалом; но, ослепленная своей яростью, она не успела хорошенько нацелиться, и клинок скользнул по эполету Монтефьоре. Все же удар был нанесен с такой силой, что итальянец упал к ногам Хуаны; она даже не взглянула на него. Марана снова бросилась к нему; на этот раз, чтобы не промахнуться, она схватила его за горло и, держа железной рукой, наметила удар прямо в сердце.

— Я свободен и женюсь на ней! Клянусь богом, клянусь матерью, всем, что есть в жизни святого! Я холост и женюсь на ней, даю в том честное слово.

И он укусил куртизанку за руку.

— Ударьте его, мать! — сказала Хуана. — Убейте его. Он трус, я не хочу, чтоб он был моим мужем, будь он даже вдесятеро красивее.

— Ах! Я узнаю свою дочь! — воскликнула Марана.

— Что здесь происходит? — спросил, входя, квартирмейстер.

— А то, что меня здесь чуть не убили из-за этой девушки, которая уверяет, будто я ее любовник. Она меня завлекла в ловушку, и теперь меня хотят принудить жениться на ней.

— И ты отказываешься? — воскликнул Диар, пораженный величавой красотой, которую негодование, презрение и ненависть придали Хуане, и без того прекрасной. — Ну и привередлив ты! Если ей нужен муж, я к ее услугам. Вложите в ножны ваши кинжалы!

Марана схватила итальянца за руку, подняла его и, притянув к кровати дочери, сказала ему шепотом:

— Если я щажу тебя, то лишь благодаря твоим последним словам. Но помни! Если ты хоть единым намеком опорочишь мою дочь, я разделаюсь с тобой. Сколько у нее приданого? — обратилась она к Пересу.

— Двести тысяч полновесных пиастров...

— Это еще не все, сударь, — сказала куртизанка Диару. — Кто вы такой? А вы можете идти, — повернулась она к Монтефьоре, который, услышав, что говорят о двухстах тысячах пиастров, подошел со словами:

— Но я действительно свободен...

Взгляд Хуаны заставил его замолчать.

— Вы действительно свободны и можете идти, — сказала она.

И Монтефьоре ушел.

— Сударь, я очень благодарна вам! — обратилась девушка к Диару. — Но, увы, я избрала себе иного супруга; он на небесах. Это Иисус Христос. Завтра я ухожу в монастырь.

— Хуана, моя Хуана, замолчи! — воскликнула мать, сжав ее в объятиях. Затем шепнула ей на ухо: — Тебе нужен земной супруг.

Хуана побледнела.

— Кто вы такой, сударь? — спросила Марана, глядя на провансальца.

— Пока всего лишь квартирмейстер Шестого линейного полка. Но ради такой женщины можно найти в себе столько мужества, что станешь маршалом Франции. Меня зовут Пьер-Франсуа Диар. Мой отец был купеческим старшиной, значит, я не какой-нибудь...

— Ах, что там!.. Вы честный человек, не правда ли? Если вы нравитесь синьорине Хуане ди Манчини, вы можете быть счастливы друг с другом. Хуана! — заговорила она суровым голосом. — Становясь женой порядочного, достойного человека, помни, что ты будешь матерью. Я поклялась, что ты сможешь целовать своих детей, не краснея... (Тут голос ее слегка дрогнул.) Я поклялась, что ты будешь добродетельной женщиной. Помни: в этой жизни много горя, но что бы ни случилось, оставайся честной и во всем верной своему мужу. Пожертвуй для него всем, ибо он будет отцом твоих детей... Отцом твоих детей! Помни! Между любовником и тобою всегда будет стоять твоя мать, я буду ею только в опасности... Взгляни на этот кинжал Переса... Он пойдет за тобой в приданое, — сказала она и, взяв оружие, бросила его на кровать Хуаны. — Я оставлю его здесь — он будет порукой твоей чести до тех пор, пока глаза мои не ослепнут и руки не утратят силу. Прощай! — произнесла Марана, сдерживая слезы. — Дай бог, чтобы мы никогда больше не свиделись.

При этой мысли слезы хлынули у нее ручьем.

— Бедное дитя! Ты была очень счастлива в этой комнатке, больше, чем сама думаешь. Постарайтесь, чтобы Хуана никогда о ней не пожалела, — добавила она, глядя на будущего зятя.

Этот рассказ является лишь вступлением к основному сюжету нашего этюда, для понимания которого необходимо было объяснить, как случилось, что капитан Диар женился на Хуане ди Манчини, что свело вместе Монтефьоре и Диара, и раскрыть, какое сердце, какая кровь, какие страсти жили в госпоже Диар.

К тому дню, когда квартирмейстер покончил со всеми долгими и скучными формальностями, без выполнения которых ни одному французскому военному не разрешается жениться, он был уже страстно влюблен в Хуану ди Манчини. У Хуаны оказалось достаточно времени, чтобы поразмыслить о своей судьбе. Ужасная судьба! Хуана не испытывала к Диару ни любви, ни уважения и все же оказалась связанной с ним словом, правда, опрометчивым, но неизбежным. Провансалец не был ни красив собой, ни хорошо сложен. В его грубоватых манерах одинаково чувствовался дурной армейский тон, привычки родной провинции и скудное образование. Могла ли полюбить Диара эта молодая девушка, сама грация, само изящество, наделенная прекрасным вкусом и неодолимой потребностью в роскоши, девушка, которую по самой ее природе влекло в высшие сферы общества? Что касается уважения, то даже в этом чувстве она отказывала Диару, и именно потому, что он женился на ней, ее отвращение было вполне естественным. Женщина — святое, прекрасное существо, но почти всегда непонятое; о ней почти всегда неверно судят, ибо не понимают ее. Если бы Хуана любила Диара, она б его и уважала. Любовь творит женщину наново; той, что была вчера, сегодня уже не существует. Вновь облачаясь в брачные одежды страсти, делая ее основой всей своей жизни, она возвращает им непорочную чистоту и белизну. Она возрождается к добродетели и целомудрию, у нее нет больше прошлого, она вся — будущее и должна все забыть, чтобы вновь все познать. В этом смысле известный стих, вложенный неким современным поэтом в уста Марион Делорм[[18]](#footnote-18), насквозь проникнут правдой, причем стих поистине корнелевский:

И девственность мою любовь мне возвращает!

Не вызывает ли эта строка воспоминания о трагедиях Корнеля, — с такой силой оживает в ней мощная энергия поэзии отца нашего театра[[19]](#footnote-19)?! И все же автору пришлось ею пожертвовать в угоду партеру, воспитанному по преимуществу на водевилях.

Итак, Хуана, лишившись любви, оказалась обманутой, униженной, опозоренной. Могла ль она уважать человека, который принимал ее такой? Со всею силой чистой, молодой души она ощущала эту невозможность уважения, как преграду на пути к любви, неуловимую, но которую женщины, даже наименее склонные к размышлениям, безотчетно делают мерилом всех своих чувств. Хуана ощутила глубокую грусть, когда жизнь раскрылась перед ней во всей своей наготе. Она часто обращала глаза, полные гордо подавляемых слез, то на Переса, то на донну Лагуниа, и они понимали, какими горькими мыслями порождены эти слезы, но оба молчали. К чему упреки? К чему утешения? Чем они сильнее, тем ужаснее кажется несчастье.

Как-то вечером Хуана, отупевшая от горя, услышала сквозь портьеры на двери, которую старики супруги считали запертой, горестные слова, вырвавшиеся у ее приемной матери:

— Бедное дитя умрет от печали!

— Да, — взволнованным голосом ответил Перес. — Но что же мы можем сделать? Не пойду ж я теперь превозносить целомудренную красоту моей питомицы перед графом д'Аркосом, за которого мы надеялись ее выдать?

— Ошибка еще не порок, — сказала донна Лагуниа, снисходительная, как ангел.

— Мать ее просватала, — возразил Перес.

— В одну минуту, да еще и не спросив ее согласия! — воскликнула донна Лагуниа.

— Она хорошо знала, что делала.

— В какие руки попадет наша жемчужина!

— Ни слова больше, или я затею ссору с этим... как его... Диаром. И это будет новым несчастьем.

Только когда Хуана услышала эти страшные слова, она поняла, какого счастья лишила себя своим падением. Значит, в награду за чистые, смиренные часы, проведенные в этом тихом убежище, ее ожидала жизнь, полная блеска и великолепия, о радостях которой она так мечтала: эти мечты и привели ее к гибели. А теперь!.. С какой высоты она упала! Она могла стать супругой испанского гранда, а выйдет за какого-то господина Диара! Хуана заплакала, Хуана почти обезумела. Несколько мгновений она колебалась в выборе между распутством и благочестием. Распутство явилось бы скорой развязкой; благочестие означало страдать всю жизнь. Минута размышлений была бурной и торжественной! Завтра наступал роковой день ее свадьбы. Хуана могла еще остаться сама собой. Свободная, она знала, как велико ее несчастье; выйдя замуж, кто знает, как далеко оно зайдет. Благочестие победило. Донна Лагуниа горячо молилась бы и бодрствовала всю ночь возле дочери, как молилась бы и бодрствовала возле умирающей.

— На то божья воля! — сказала она Хуане.

Природа наделяет женщину особой силой, которая помогает ей мужественно терпеть страдания, и слабостью, склоняющей ее к покорности. Хуана покорилась без единой задней мысли. Послушная обету матери, она хотела во всеоружии добродетели пересечь пустыню жизни, чтобы взойти на небо, и сознавала, что на тяжком своем пути не встретит ни одного цветка. Хуана вышла за Диара. Что до квартирмейстера, то кто бы не оправдал его, если Хуана его и не прощала? Он любил, любил до-самозабвения. Марана, с ее столь естественным умением прозревать любовь, распознала в нем голос истинной страсти, почувствовала его порывистость, широту и щедрость души, свойственную южанам. В минуту яростного гнева против Монтефьоре она разглядела только хорошие качества Диара и решила, что может быть спокойна за счастье дочери.

На первых порах брак с виду был счастливым, иль, может быть, в подтверждение той истины, что женщина хоронит свои горести на дне души, Хуана только старалась ничем не омрачать радость своего мужа. Столь двойственную роль играть ужасно, а меж тем рано или поздно ее играет большинство женщин, несчастных в замужестве. Мужчина тут может изложить только факты, одни лишь женские сердца прозревают чувства. Посильная ль это задача — рассказать всю правду о такой жизни? Хуана, всечасно боровшаяся со своей натурой полуиспанки-полуитальянки, выплакала все слезы, плача втайне: она была одним из тех созданий, которым суждено в жизни стать воплощением женского несчастья во всей его полноте, ни на минуту не стихающего горя, описание которого потребовало бы таких кропотливых наблюдений, что любители занимательных романов сочли бы его скучным. Но разве подобный анализ, в котором всякая замужняя женщина могла бы увидеть черты своих страданий и понять чужие муки, не составил бы целой книги? Неблагодарный труд — такая книга: вся ее прелесть была бы в нежных красках, в тончайших нюансах, которые критики нашли бы вялыми и расплывчатыми. Впрочем, кто мог бы, обладая всего лишь одним сердцем в груди, коснуться этих трогательных и глубоких элегий, тайну которых немало женщин уносят с собой в могилу; печалей, не понятых даже их виновниками, подавленных вздохов, самоотверженности без награды (по крайней мере, без награды здесь, на земле), гордого, никем не замеченного молчания, непрестанных и напрасных жертв; чаемых, но несбывшихся радостей, деяний ангельского милосердия, совершающихся втайне, — словом, всей жизни женщины, всех ее верований и неугасимой любви. Хуана познала эту жизнь, и судьба ни в чем ее не пощадила. Она была подлинной женщиной, но несчастной, страдающей, непрерывно оскорбляемой женщиной, наделенной красотой и блеском, подобно алмазу чистейшей воды, но при всей своей красоте и блеске способной отомстить за оскорбление. Хуана была не из тех девушек, что с опаской смотрели бы на кинжал, добавленный к их приданому.

Однако Диар, воодушевленный подлинной любовью и страстью, которые на миг изменяют самые дурные характеры, выявляя в душе все, что есть в ней светлого, вначале повел себя, как человек чести. Он заставил Монтефьоре уйти из полка и даже из корпуса, чтобы Хуане не пришлось больше с ним встретиться в течение того недолгого времени, что Диар рассчитывал еще остаться в Испании. Затем квартирмейстер стал ходатайствовать о новом назначении и добился перевода в императорскую гвардию. Ему хотелось любой ценой приобрести титул, почет, уважение, которые бы соответствовали его огромному состоянию. Одержимый этой мыслью, Диар проявил большую храбрость в одном из самых кровопролитных сражений в Германии, но был в нем так опасно ранен, что не мог больше оставаться на военной службе. Ему угрожала потеря ноги, и он вышел в отставку — без баронского титула, без наград, которых так добивался и которые, быть может, получил бы, не будь он Диаром. Это несчастье, рана, обманутые надежды коренным образом изменили его характер. Энергия, ненадолго вспыхнувшая в этом провансальце, погасла. Однако вначале жена поддержала неудачника: его старания, проявленные им мужество и честолюбие внушили ей некоторую веру в мужа, а Хуана больше, чем всякая другая, могла показать, что женщины — нежные утешительницы в тяжкие минуты жизни. Приободренный несколькими ее словами, отставной командир эскадрона переехал в Париж, решив добиться на гражданском поприще высокого положения, которое заставило б уважать его, забыть в нем квартирмейстера 6-го линейного полка и со временем принесло бы какой-нибудь громкий титул г-же Диар. Страсть к этому пленительному существу помогала ему угадывать ее сокровенные желания. Она молчала, но Диар ее понимал: он не был так любим, как мечтал быть любимым, он это знал, но хотел добиться уважения Хуаны, ее любви, ласки. Этот злополучный человек жил надеждой на счастье; жена его оставалась кроткой, терпеливой, но ее кротость, ее терпение говорили лишь о покорности, которой он был обязан тем, что Хуана стала его женой. Покорность во имя религии, разве это любовь? Как часто он жаждал отказа там, где встречал лишь целомудренное послушание; сколько раз готов был пожертвовать вечным спасением души, лишь бы Хуана поплакала у него на груди, не тая своих мыслей под улыбкой, лишь бы не лгала из благородства. Очень часто молодые люди (именно молодые, ибо в известном возрасте мы уж больше не боремся) пытаются победить злую судьбу, когда черные тучи, собравшись на горизонте их жизни, разражаются грозой; и если они, побежденные, скатываются в бездну несчастья, следует воздать им дань уважения за эти безвестные битвы.

Подобно многим, Диар все перепробовал, и все оказалось против него. Богатство позволило ему окружить жену всеми благами парижской роскоши. У нее появился роскошный особняк, пышные гостиные; ее дом, поставленный на широкую ногу, стал одним из тех, где толпятся и люди искусства, по своей природе плохие знатоки светских обычаев, не склонные к критикантству, и интриганы, которые везде пролезут, и господа, готовые развлекаться где угодно, и несколько модных фигур — все влюбленные в Хуану. Кто оказывается в Париже на виду, должен либо покорить его, либо ему подчиниться. Диар не обладал достаточно сильным, достаточно твердым и настойчивым характером, чтобы властвовать в обществе той эпохи, когда каждому хотелось возвыситься над другими. Четко установленные социальные перегородки являются, быть может, большим благом даже для народа. Наполеон признавался, каких трудов ему стоило внушить уважение к себе своим придворным, большинство которых было ему прежде ровней. Но Наполеон был корсиканцем, а Диар провансальцем. При одинаковой одаренности островитянин всегда будет совершеннее жителя материка, и под одной и той же широтой пролив, отделяющий Корсику от Прованса, вопреки географии, — это целый океан, который делает их двумя различными странами.

Ложное положение Диара, еще усугубленное им самим, привело к большим несчастьям для него. Из постепенного сцепления фактов, которые вызвали развязку данной истории, пожалуй, можно сделать полезные, назидательные выводы. Начать с того, что парижские насмешники всегда с коварной улыбкой смотрели на картины, которыми бывший квартирмейстер украсил свой особняк. О недавно купленных им шедеврах каждый высказывался обиняками, пряча за ними упрек по адресу тех, кто вывез сокровища искусства из Испании, и это было местью самолюбий, уязвленных богатством Диара. Хуана разгадала многие из этих намеков, на которые французы столь великие мастера, и по ее совету муж отправил свои приобретения назад, в Таррагону. Но публика, склонная все толковать в дурную сторону, говорила:

— Хитрец этот Диар! Продал свои картины!

И добрые люди по-прежнему полагали, что полотна, оставшиеся в его салонах, приобретены нечестным путем. Некоторые завистливые женщины спрашивали, как случилось, что какой-то Диар женился на столь богатой и красивой девушке. Пошли всякие толки, злые насмешки, какие умеют придумать в Париже. Однако Хуана пользовалась всеобщим уважением; перед ее чистой, святой жизнью смолкали даже парижские клеветники. Но это уважение относилось только к ней самой, на мужа оно не распространялось. Женская проницательность и зоркий взгляд, которым Хуана окидывала посетителей ее гостиных, приносили ей одни горести.

Неуважение к Диару было чем-то вполне естественным. Военные, несмотря на свои достоинства, которыми воображение публики их наделяет, не могли простить, что бывший квартирмейстер разбогател и вздумал играть в столице Франции видную роль. Ибо в Париже, начиная с последнего особняка Сен-Жерменского предместья и кончая последним особняком на улице Сен-Лазар, между Люксембургским холмом и Монмартром, все, кто наряжается и болтает, кто наряжается, чтобы выезжать, и выезжает, чтобы болтать, весь мир людей с большими и малыми претензиями, полных наглости или смиренных желаний, зависти и низкопоклонства, все раззолоченное или с облезшей позолотой, молодые и старые, родовитые со вчерашнего дня и родовитые с четвертого века, все, кто насмехается над выскочками, кто боится себя скомпрометировать, кто рад уничтожить силу или пресмыкаться перед ней, если она дает отпор, — все эти уши слышат, все языки говорят, все эти головы в один вечер узнают, где родился, где рос, что делал и чего не делал вновь прибывший, который притязает на почет в хорошем обществе. Для высшего света не существует суда присяжных, зато в нем есть самый жестокий из всех генеральных прокуроров, некое неуловимое нравственное существо, одновременно судья и палач — оно обвиняет, оно же и клеймит. Не надейтесь что-либо скрыть от него, расскажите ему все сами, ибо оно хочет все знать и знает все. Не спрашивайте, где тот неведомый телеграф, что передает в мгновение ока во все места любое событие, любой скандал, любую новость. Не спрашивайте также, кто управляет этим телеграфом — это общественная тайна, и мы можем только убеждаться, что он действует. Тому имеются самые невероятные примеры, ограничимся одним. Об убийстве герцога Беррийского[[20]](#footnote-20), заколотого в Опере, рассказывали уже на десятой минуте после свершившегося в самой отдаленной части острова Сен-Луи[[21]](#footnote-21). Мнение 6-го линейного полка о Диаре просочилось в светское общество в тот самый вечер, когда он давал свой первый бал, уже на десятой минуте после начала празднества.

Итак, Диар оказался бессильным против света. Отныне только его жена могла еще что-то из него сделать. Чудо, творимое нашей своеобразной цивилизацией! В Париже, когда мужчина не умеет сам себе создать положение, его жена, если она молода и умна, дает ему еще на это кое-какие шансы. Сколько женщин можно встретить там, с виду больных, слабых, которые, не вставая с кушетки, не выходя из комнаты, управляют обществом и, нажав тысячи пружин, устраивают своих мужей на такие посты, на каких этим тщеславным дамам хочется их видеть. Но Хуана, юность которой невинно протекала в ее таррагонской келье, ничего не знала о пороках, подлостях, средствах борьбы парижского света. Она смотрела на него глазами любопытной девочки и узнавала только то, что ее горе и раненая гордость открывали в нем. Но Хуана обладала чуткостью нетронутого сердца: оно, подобно листочкам мимозы, заранее ощущало всякое прикосновение. Юная отшельница, рано ставшая женщиной, поняла, что заставить силой уважать ее мужа значило бы просить милостыню по-испански, то есть с пистолетом в руке. И разве частые и разнообразные меры, которые ей пришлось бы для этого принимать, не обнаружили бы всей их необходимости? Добиться некоторого уважения или добиться всеобщего уважения? Для Диара между решением этих двух проблем была целая пропасть. Хуана разом разгадала свет, как недавно разгадала жизнь, и для себя увидела в нем только необъятное море непоправимого несчастья. Затем она с болью в сердце и слишком поздно убедилась в поразительной бездарности мужа; этот человек неспособен был широко и последовательно мыслить. Он совершенно не понимал, какую роль ему следовало играть в обществе, не улавливал ни общего ее характера, ни оттенков, а оттенки тут решали все. Разве он не находился в том положении, когда тонкость ума или хитрость легко могут заменить силу: ведь хитрость, пожалуй, самая большая сила, ибо она залог успеха.

Итак, Диар не только не стер пятна со своей репутации, оставленного его прошлым, а приложил немало стараний, чтоб оно расплылось еще шире. Не поняв хорошенько тот период империи, во время которого он приехал в Париж, Диар, всего-навсего командир эскадрона, вознамерился стать префектом. В ту пору почти все верили в гений Наполеона. Под его покровительством все приобрело грандиозный размах. Префектуры, эти империи в миниатюре, возглавлялись чиновниками с крупными именами, камергерами его императорского и королевского величества. Префекты стали визирями. Естественно, что интриганы, окружавшие великого человека, только посмеялись над честолюбием, проявленным командиром эскадрона, и Диар незамедлительно принялся хлопотать о должности супрефекта. Создалось забавное несоответствие между скромностью его притязаний и размерами его состояния. Держать открытый дом, нагло выставлять напоказ в своих гостиных королевскую роскошь — и вдруг отказаться от жизни миллионера, чтобы зарыться в глуши какого-нибудь Иссудена или Савенея, не значило ль это поставить себя ниже своего положения? Хуана слишком поздно постигла наши законы, нравы, административные привычки и потому слишком поздно открыла мужу глаза. Диар, отчаявшись, хлопотал у всех подряд министерских властей и везде встретил отказ. Ему всюду отказывали, он так ничем и не сделался, а тогда свет стал о нем судить так же, как судило о нем правительство, как судил о себе и он сам. Диар был тяжело ранен в сражении и не получил даже ордена. Для бывшего квартирмейстера не нашлось места в государстве, а потому и общество отказало ему в том месте, на которое он претендовал. А у себя в доме этот несчастный чувствовал на каждом шагу превосходство жены. Хотя она проявляла много такта (следовало бы сказать, бархатного, не будь такой эпитет слишком смелым), стараясь скрыть от мужа свое главенство, которое ее самое удивляло и унижало, в конце концов Диар почувствовал себя уязвленным. В такой игре мужчина неизбежно либо опускается, либо вырастает, либо меняется в дурную сторону. Мужество и пыл этого человека не могли не ослабеть под вечными ударами по самолюбию, которые он сам же и вызывал своими непрерывными промахами. Начать с того, что ему приходилось все в себе преодолевать: свои привычки и характер. Человек горячий, искренний в своих пороках, так же как в добродетелях, человек, в котором каждый нерв, каждая жилка вибрировали, как струны арфы, он сердечно относился к своим старым друзьям. Он равно помогал людям с замаранной репутацией и впавшим в нужду знатным людям, словом, никого не чуждался и в своей раззолоченной гостиной привечал какого-нибудь приятеля-бедняка, дружески протягивая ему руку. Заметив это, генерал империи, разновидность рода человеческого, в наше время уже вымирающая, при встрече с Диаром не раскрыл ему, как обычно, своих объятий, а нагло сказал: «Здорово, милейший!» Ну, а там, где генералы прятали свою наглость под личиной солдатского простодушия, немногие люди из хорошего общества, еще встречавшиеся с Диаром, проявляли к нему то изысканное, вежливое презрение, против которого человек новый в обществе почти всегда безоружен. Вдобавок ухватки Диара, размашистая жестикуляция, его речь, манера одеваться, все в нем было вульгарно и лишало беднягу того уважения, которого умеют добиваться выскочки старательным соблюдением правил хорошего тона, иго, которое смеют сбросить с себя только сильные мира сего. Так уж устроен свет.

Эти подробности дают лишь слабое понятие о бесчисленных пытках, какие переносила Хуана. Они возникали одна за другой. Каждый в обществе норовил кольнуть ее булавкой, меж тем ее душа предпочитала бы удары кинжала. Разве не были нестерпимы страдания Хуаны, когда Диар при ней получал оскорбления, но не чувствовал их, зато она вдвойне их чувствовала за него? Наконец пришла страшная минута, когда она со всей ясностью постигла свет и сразу познала те горести, которые в нем исподволь для нее накапливались. Хуана поняла, что ее муж совершенно неспособен подняться на высокие ступени социальной иерархии, и представила себе, как низко придется ему упасть, если мужество изменит ему. Тут она почувствовала к Диару искреннее сострадание. Будущее казалось ей очень мрачным. Она жила в вечном предчувствии несчастья, не зная, откуда оно придет. Это предчувствие таилось в ее душе, как зараза таится в воздухе; но она находила в себе силы скрывать под улыбкой свои томительные страхи. Хуана научилась больше не думать о себе. Воспользовавшись своим влиянием на мужа, она уговорила его отказаться от всех притязаний и найти для себя верное убежище в тихой, благотворной жизни у домашнего очага. Все несчастья шли от света, так не следовало ли перестать с ним общаться? В родной семье он обрел бы покой, уважение к себе; он царил бы в доме. Хуана ощущала в своей душе достаточно силы, чтобы взять на себя задачу сделать этого человека, недовольного собой, счастливым. Ее энергия росла вместе с жизненными трудностями; она нашла в себе скрытый, необходимый в ее положении героизм, была воодушевлена теми же светлыми упованиями, какие поддерживают ангела, призванного защитить христианскую душу, — суеверная поэзия, аллегорический образ нашей двойственной природы.

Диар отказался от своих честолюбивых планов, прекратил приемы и зажил в тесном семейном кругу (да простится мне столь обыденное выражение!). Но тут-то и оказался камень преткновения. Бедняга Диар был из числа беспокойных натур, испытывающих вечную потребность в движении; словно какой-то инстинкт гонит их прочь, едва они пришли, словно они задались целью беспрестанно двигаться взад и вперед, как те колеса, о которых говорится в священном писании. А может быть, он старался таким путем уйти от себя? Он не пресытился Хуаной, он ни в чем не мог ее упрекнуть, просто страсть его в силу обладания стала менее бурной, и к нему вернулся его прежний характер. Все чаще на него нападала хандра, сменяясь вспышками южной горячности. Чем женщина добродетельнее, чем она безупречнее, тем приятнее мужу уличить ее в какой-нибудь ошибке, хотя бы для того, чтобы доказать свое законное превосходство. А если жена внушает мужу безграничное уважение, он испытывает потребность изобрести для нее какую-либо вину. И тогда в отношениях между супругами мельчайшая песчинка вырастает в целую гору. Но Хуана, терпеливая без гордыни, кроткая без той горечи, какую женщины умеют придать своей покорности, не подавала никакого повода для рассчитанной злобы, жесточе которой не бывает. В ее существе было столько благородства, что к ней невозможно было относиться неуважительно; ее взгляд, в котором отражалась святая чистота ее жизни, взгляд мученицы, обладал волшебной силой. Диара вначале это стесняло, потом стало задевать, и наконец он почувствовал в этой добродетели ярмо для себя. Столь разумная жена не давала ему острых ощущений, а он жаждал их. Сколько драм, разыгрывающихся в глубине души, скрыто под холодными итогами существования, на взгляд весьма простого, обыденного! Среди этих мелких драм, которые длятся недолго, но рано вплетаются в жизнь, почти всегда являясь предвестьем серьезного несчастья, предначертанного большинству браков, трудно выбрать какой-нибудь пример. Все же одна сцена поможет нам указать минуту, с которой между Диаром и Хуаной начался разлад. Не послужит ли она объяснением развязки этой истории?

У Хуаны, к счастью для нее, было двое детей — два сына. Первый родился через семь месяцев после свадьбы. Его звали Хуаном, и он походил на мать. Второго она родила через два года после своего переезда в Париж. Ребенок был похож и на Диара и на нее, но гораздо больше на Диара и носил два его имени. Лет с пяти Франсуа стал для матери предметом самых нежных попечений. Она постоянно занималась младшим сыном; для него предназначались самые умиленные ласки и самые лучшие игрушки, а главное — внимательные, зоркие взгляды матери. Хуана следила за ним с колыбели, она изучила его крики, движения, старалась постигнуть его характер, чтобы руководить его воспитанием. Казалось, он был у Хуаны единственным ребенком. Увидав, что Хуан почти заброшен, Диар взял его под свое покровительство, не задумываясь над тем, что этот малыш — дитя той недолгой любви, которая вынудила Хуану выйти за него. Он питал к Хуану какое-то своеобразное и благородное пристрастие, сделал его своим любимцем. Из всех чувств, заложенных в крови Хуаны ее женскими предками и снедавших ее, она дала волю только материнской любви. Но любила она своих детей не только неистовой любовью, пример которой являла Марана, участвовавшая в вводной части этой истории, — ее чувство проникнуто было пленительной чистотой, тонким пониманием высоких нравственных качеств, воспитание которых в ребенке стало ее гордостью, ее внутренней наградой. Сокровенные мысли о своем материнстве, сознание материнского долга, которые наложили на жизнь Мараны отпечаток суровой поэтичности, стали для Хуаны самой жизнью, непрестанным утешением. Ее мать была добродетельна украдкой, как другие женщины бывают порочны, она воровала свое тайное счастье, она им не наслаждалась. Но Хуана, несчастная по своей добродетели, как ее мать была несчастна по своей порочности, ежечасно находила те неизъяснимые радости, которых ее мать так жаждала и была лишена. Для нее, как и для Мараны, в материнстве заключались все земные чувства. Та и другая, по противоположным причинам, не знали в своих страданиях другого утешения. Хуана, быть может, любила своих детей больше, ибо, отлученная от другой любви, заменила все отнятые у нее радости теми, что давали ей дети. Существуют благородные страсти, подобные порокам: чем больше их удовлетворяют, тем сильнее они растут. Мать и игрок ненасытны. Убедившись в великодушном прощении Диара, увидев, что он щедро дарит ее сыну отцовское чувство, Хуана была тронута; с того дня как муж поменялся с ней ролями, она почувствовала к нему глубокий и неподдельный интерес, доказательства которого раньше давала по обязанности. Будь у этого человека больше характера, воли, не губили б его безалаберность, непостоянство, изменчивость нрава, вспышки искренней, но болезненной чувствительности, Хуана, несомненно б, его полюбила. К несчастью, он принадлежал к определенному типу южан, умных, но лишенных твердых убеждений, способных сегодня на прекрасный поступок, а завтра на весьма низкий; зачастую они жертвы своих добродетелей, а нередко — счастливцы в силу дурных своих страстей; впрочем, они премилые люди, когда их добрые качества объединены постоянной энергией и деятельностью. Уже два года Диар жил, прикованный к дому нежнейшей из цепей. Он жил так против своей воли, подчиняясь влиянию женщины, которая притворялась веселой, чтобы развлечь его, пускала в ход все средства гениальной женской изобретательности, стараясь склонить мужа к добродетели, но искусства ее все же не хватало на то, чтобы притворяться в любви к нему.

В это время на весь Париж нашумело дело одного капитана императорской армии, который в порыве исступленной страсти убил женщину. Однажды Диар, вернувшись домой к обеду, рассказал Хуане о самоубийстве этого офицера. Он покончил с собой, желая избежать бесчестья судебного процесса и позорной смерти на эшафоте. Поначалу Хуана не поняла логики этого самоубийства, и мужу пришлось разъяснить ей высокую справедливость французских законов, по которой запрещается судить преступника посмертно.

— Папа, а ты ведь говорил на днях, что король имеет право его помиловать? — сказал Франсуа.

— Король может только подарить жизнь, — почти гневно ответил Хуан.

Диар и Хуана, свидетели этого разговора, были по-разному им взволнованы. Влажный радостный взгляд, брошенный матерью на старшего сына, роковым образом раскрыл Диару тайну этого, до сих пор непроницаемого сердца. Старший был весь в Хуану, старшего она знала, была уверена в его душевном благородстве, в его будущем; она его обожала, и ее горячая любовь была тайной между нею, ребенком и богом. Хуан безотчетно наслаждался резкими переходами в обращении с ним матери, которая то душила его в объятиях, когда они оставались одни, а то, в присутствии отца и брата, словно сердилась на него. Франсуа был копией Диара, и все заботы Хуаны говорили о ее желании победить в ребенке пороки отца и развить хорошие качества. Хуана, не зная, как много открыл мужу ее взгляд, усадила Франсуа возле себя и мягким голосом, радостно взволнованная ответом Хуана, прочла младшему сыну урок морали, доступный детскому пониманию.

— Его характер требует больших забот! — сказал жене Диар,

— Да, — ответила она просто.

— Зато Хуан!..

Госпожа Диар, испуганная тоном, каким были произнесены эти слова, взглянула на мужа.

— Хуан родился совершенством, — добавил Диар. Сказав это, он сел, нахмурившись, и, увидев, что жена молчит, продолжал: — Одного из ваших детей вы любите больше, чем другого.

— Вы хорошо знаете, которого, — сказала она.

— Нет! — ответил Диар. — До сих пор я не знал, кому из них вы дарите больше любви.

— Но ведь ни тот, ни другой еще не причиняли мне огорчений, — быстро ответила она.

— Да, но кто из них дал вам больше радости? — настороженно спросил Диар.

— Я не считала.

— До чего женщины лживы! — воскликнул Диар. — Посмейте сказать, что не Хуан — любимое ваше дитя!

— Если это и так, — сказала она с достоинством, — неужели вы хотите, чтоб это стало несчастьем?

— Вы никогда меня не любили. Если бы вы захотели, я мог бы завоевать ради вас королевство. Чего я только не делал, чтобы добиться вашей любви. Ах, если бы вы меня любили!

— Женщина, которая любит, живет в уединении, вдали от света. Не так ли мы с вами и поступаем?

— Я знаю, Хуана, вы всегда правы.

Эти слова, проникнутые глубокой горечью, внесли холод в их отношения, так и не исчезнувший до конца в их совместной жизни. На следующий день после рокового объяснения Диар забрел к кому-то из старых товарищей и нашел прежнее удовольствие в картах. К несчастью, он много выиграл и снова втянулся в игру. Дальше, незаметно катясь по наклонной плоскости, он вернулся к той беспутной жизни, какую вел когда-то. Вскоре он перестал обедать дома. Несколько месяцев прошли в блаженном ощущении вновь обретенной независимости; Диару захотелось закрепить за собой эту свободу, и он зажил врозь с женой, — предоставил ей весь дом, а сам поселился на антресолях. К концу года супруги уже виделись только по утрам, за завтраком. Как все игроки, Диар попеременно оказывался то в выигрыше, то в проигрыше. И вот, не желая затрагивать основной капитал, он решил изъять из-под контроля жены распоряжение доходами и в один прекрасный день отстранил ее от управления домом. Безграничное доверие между ними сменилось полной отчужденностью и подозрениями. Что касается денег на нужды хозяйства, прежде у них нераздельных, Диар ограничил жену строгим месячным бюджетом, сумму которого они установили сообща. Их разговор по поводу этого был последней беседой между ними, еще не лишенной той интимности, которая является одной из самых милых, привлекательных сторон брака. Безмолвие, воцарившееся между мужем и женой, — это фактический развод, состоявшийся в тот день, когда слово «мы» больше не произносится. Хуана поняла, что с этого дня она только мать, и почувствовала себя счастливой, не доискиваясь причины случившегося разрыва. Это было большой ошибкой. Дети вносят согласие в существование супругов, и жизнь мужа, полная тайн, не должна была служить для Хуаны только источником печали и томительной тревоги. Диар, освободившись от влияния жены, быстро привык терять или выигрывать огромные суммы. Отличный игрок, игрок широкого размаха, он приобрел известность своей манерой играть. Уважение, которого Диар не сумел добиться при Империи, он завоевал во время Реставрации, расшвыривая по зеленому сукну свое состояние, обращенное им в наличные деньги, а также своим пресловутым мастерством в любой игре. Посланники, крупные банкиры, богачи, прожигатели жизни, которые, взяв от нее все, начинают искать в игре особо острых наслаждений, допускали Диара в свои клубы, редко в свои дома, но играли с ним все. Диар стал знаменитостью. Из тщеславия он раза два в году давал зимой бал — в ответ на празднества, на которые его приглашали. Хуана урывками снова видела свет в блеске и роскоши этих званых вечеров. Но она смотрела на них, как на своего рода дань, которую вынуждена была платить за свое счастливое уединение. Она, царица этих празднеств, появлялась на них, словно существо из другого мира. Невинность души, вернувшаяся к ней с новым укладом ее жизни, красота, безыскусственная скромность вызывали самое искреннее уважение к ней. Однако, замечая, как мало женщин бывает в их доме, Хуана поняла, что если муж, не сообщая ей о том, идет в жизни каким-то новым путем, то уважения к себе света он не приобрел.

Диару не всегда везло: за три года он проиграл три четверти своего состояния; но страсть к игре рождала в нем энергию, необходимую для ее удовлетворения. Он был связан со множеством людей, главным образом с большинством тех мошенников, орудовавших на бирже, которые со времени революции провозгласили, что крупное воровство — это не больше, чем родимое пятнышко на репутации, и переносили, таким образом, на свои денежные сундуки бесстыдные взгляды на любовь, усвоенные восемнадцатым веком. Диар стал дельцом и пустился в аферы, которые на судебном языке называются *темными*. Он научился скупать при затянувшихся ликвидациях векселя у бедняг, не подозревавших о существовании таких контор, заканчивал их в один вечер и делил барыши с самими ликвидаторами. Потом, когда ликвидные долги иссякали, он принимался за неконсолидированные[[22]](#footnote-22), с уплатой на предъявителя, или, раскопав в европейских, азиатских или американских странах денежные рекламации, приостановленные за неплатежеспособностью должников, опять давал им ход. Когда Реставрация погасила долги королевских принцев, Республики и Империи, он стал добиваться комиссий на займы, каналы, на всякого рода предприятия. Коротко говоря, он занимался благопристойным воровством, каким занимаются многие, ловко маскируясь или же прячась за кулисами политических махинаций; соверши такое воровство кто-либо на улице при свете ночного фонаря, оно довело бы несчастного до каторги, но оно было дозволенным в апартаментах с раззолоченными лепными потолками и золотыми канделябрами. Диар скупал крупными партиями и перепродавал сахар, торговал должностями, ему принадлежала честь изобретения подставного лица для тех доходных мест, за которые следовало держаться, пока не найдутся лучшие. Он высматривал лакомые куски и, чтоб ими овладеть, выискивал лазейки в законах, всячески попирая закон.

Для характеристики этой высокой коммерции достаточно сказать, что он попросил столько-то процентов за то, чтобы купить в законодательной палате голоса пятнадцати депутатов, которые за одну ночь сменили убеждения и утром пересели со скамей левых на скамьи правых. Такого рода действия не считаются преступлением или воровством, — это способы формировать правительство, управлять промышленностью, проявлять финансовый ум. Общественное мнение посадило Диара на скамью подсудимых. Но ведь там сидит не один ловкий делец. Там обретается аристократия зла. Это верхняя палата преступников хорошего тона. Ибо Диар не был обычным игроком, тем игроком, которого в драмах изображают мерзавцем и который непременно кончает нищенством. Такого жалкого игрока на известной высоте в свете уже не найдешь. Ныне смелые негодяи умирают во всем блеске порока и богатства. Они пускают себе пулю в лоб, сидя в карете, и уносят с собою все, что было им доверено в долг. По крайней мере, Диар обладал талантом не терзаться «дешевыми укорами совести» и стал одним из таких привилегированных мошенников. Изучив все тайные пружины правительства, секреты и страсти его сановных особ, он сумел удержаться на своем месте в том адском пекле, в которое сам бросился. Госпожа Диар и не подозревала, какую жизнь ведет ее муж. Радуясь, что он совсем отошел от нее, она вначале не замечала своего одиночества, так как весь день у нее был заполнен. Свои деньги она целиком тратила на воспитание детей: пригласила к ним опытного наставника и нескольких учителей, необходимых для их всестороннего образования; ей хотелось вырастить их людьми с ясным разумом, не лишенными, однако, свежести воображения. А так как дети были для нее единственным источником впечатлений, то Хуана нисколько не страдала от своей бесцветной жизни. Они были для нее тем, чем дети надолго становятся для многих матерей, — как бы продолжением их существа. Диар явился в ее жизни только случайностью, и с той поры, как перестал быть отцом и главой семьи, Хуана чувствовала себя связанной с ним только внешними узами, какие общественная мораль накладывает на супругов. Тем не менее она внушала сыновьям уважение к отцовской власти, какой бы призрачной эта власть ни была для них; тут ей как раз помогло постоянное отсутствие Диара. Если бы он больше бывал дома, рухнули бы все усилия Хуаны. Ее сыновья обладали уже достаточным умом и тактом, чтобы не осуждать своего отца. Осудить своего отца — значит совершить моральное отцеубийство. Однако с течением времени равнодушие Хуаны к мужу исчезло. Это первоначальное чувство сменилось страхом. Она поняла, что поведение отца может тяжело отразиться на будущности сыновей — ее материнская любовь помогала ей порой, хотя и неполностью, прозреть истину. Предчувствие неведомого, но неотвратимого несчастья, в котором она постоянно жила, становилось со дня на день все живее, все мучительнее. В те редкие мгновения, когда Хуане случалось видеть Диара, она бросала на его испитое лицо, мертвенно бледное от бессонных ночей и иссушенное страстями, пронизывающий взгляд, зоркость которого приводила его в трепет. Тогда деланная жизнерадостность, которой он прикрывался, пугала ее еще больше, чем его угрюмое, тревожное выражение, когда он случайно забывал свою роль весельчака. Он страшился жены, как преступник страшится палача. Хуана видела в нем позор своих детей, и Диар с ужасом чуял в ней молчаливую месть, правосудие с ясным челом и всегда поднятой, всегда вооруженной рукой.

После пятнадцати лет брака Диар оказался однажды без средств. У него было на сто тысяч экю долгов, а наличных денег не больше ста тысяч франков. Его особняк, единственное солидное имущество, был заложен и перезаложен, и сумма закладных превышала его стоимость. Еще несколько дней — и престиж в обществе, который давало ему богатство, рухнет. Кончатся эти дни отсрочки крушения, и никто не протянет ему руку помощи, не раскроет перед ним кошелька. И тогда, если только не выручит какой-нибудь счастливый случай, его втопчут в грязь, задавят презрением, и, может быть, он упадет ниже, чем того заслуживает, именно потому, что поднялся на неподобающую ему высоту. К счастью, Диар узнал, что летом на теплые воды в Пиренеи прибудет несколько видных иностранцев и дипломатов, — все люди, ведущие дьявольскую игру и, несомненно, обладающие большими деньгами. Диар сразу решил ехать туда. Но ему не хотелось оставлять жену в Париже, где любой кредитор мог открыть ей ужасную тайну его положения, и он увез ее вместе с детьми, не позволив захватить в путешествие их воспитателя. Он взял с собой единственного лакея и крайне неохотно разрешил Хуане оставить при себе свою горничную. Говорил он теперь отрывисто, властно; казалось, к нему вернулась прежняя энергия. Эта внезапная поездка, причины которой Хуана при всей ее проницательности не могла понять, наполнила ее душу леденящим страхом. Диар был весел в пути, поневоле очутившись вместе с семьей в дорожной карете, он с каждым днем становился внимательнее к детям и любезнее с матерью. И все же Хуану ни на один день не покидали мрачные предчувствия — предчувствия матери, которая трепещет без видимой причины и редко при этом ошибается. Вероятно, завеса будущего для матерей менее непроницаема.

В Бордо Диар снял на тихой улице небольшой, спокойный дом, очень прилично меблированный, и поселил в нем жену. Дом был угловой, с большим садом при нем. Примыкая к соседнему дому одной стороной, он был весь на виду и доступен с остальных трех сторон. Диар уплатил за наем и оставил Хуане денег на самые необходимые расходы: на три месяца всего лишь пятьдесят луидоров. Госпожа Диар не позволила себе ни одного замечания по поводу этой непривычной скаредности. Когда муж сказал, что едет на воды, а ей придется остаться с детьми в Бордо, Хуана решила хорошенько заняться с сыновьями итальянским и испанским, читать вместе с ними в подлиннике лучшие произведения на этих языках. Ей предстояло вести уединенный, простой и, конечно, экономный образ жизни. Чтоб отделаться от скучных хозяйственных хлопот, она на другой же день после отъезда Диара договорилась с трактирщиком относительно питания и решила ограничиться услугами единственной горничной; хотя она осталась без денег, зато была обеспечена самым необходимым до возвращения мужа. Ее развлечения сводились к прогулкам, на которые она отправлялась вместе с детьми. Ей исполнилось тогда тридцать три года. Красота ее была в полном расцвете. Не удивительно, что стоило ей появиться в Бордо, там только и было разговору, что о прекрасной испанке. После первого же любовного письма, полученного Хуаной, она стала прогуливаться только в своем саду.

Вначале Диару повезло на водах. За два месяца он выиграл триста тысяч франков, однако и не подумал послать денег жене — ему нужна была большая сумма, чтобы увеличить свои шансы на крупный выигрыш. В конце второго месяца на воды прибыл маркиз ди Монтефьоре, которому предшествовала слава о его богатстве, красоте, удачной женитьбе на знатной англичанке, а еще больше — о его страсти к игре. Диар, старый товарищ Монтефьоре, решил его дождаться, намереваясь обыграть так же, как и остальных. Игрок, вооруженный почти четырьмястами тысяч франков, всегда чувствует себя хозяином жизни, и Диар, веря в свою счастливую звезду, возобновил знакомство с Монтефьоре. Тот встретил его очень холодно, но сел с ним за карточный стол, и Диар проиграл ему все деньги.

— Дорогой Монтефьоре, — сказал бывший квартирмейстер, когда они, закончив разорившую его игру, прохаживались по салонам игорного дома. — Я вам должен сто тысяч франков, но деньги у меня в Бордо, где я оставил жену.

У Диара было в кармане еще добрых сто тысяч франков; однако с апломбом и быстрой оглядкой человека, привыкшего изворачиваться любыми средствами, он все еще надеялся на непостижимые причуды игры. Монтефьоре изъявил намерение посмотреть Бордо. Диар, расплатившись с ним, остался бы без денег и не мог бы попробовать отыграться. А иногда реванш компенсирует весь проигрыш. Диар загорелся надеждой, но все зависело от ответа маркиза.

— Послушай, мой милый, — сказал Монтефьоре. — Едем вместе в Бордо. По совести сказать, я теперь достаточно богат, чтобы не брать денег у старого товарища.

Три дня спустя Диар и итальянец были уже в Бордо. Монтефьоре предложил Диару отыграться. И в течение вечера тот проиграл ему не только свои сто тысяч франков, но еще двести тысяч на слово. Провансалец был весел, как человек, привыкший купаться в золоте. Только что пробило одиннадцать, стояла прекрасная погода; Монтефьоре, как и Диар, видимо, испытывал потребность побыть на воздухе и прогуляться, чтоб остыть от волнений азарта; Диар предложил зайти к нему за деньгами и выпить чашку чаю.

— А как же... твоя жена?.. — сказал Монтефьоре.

— Ба! — ответил Диар.

Они сошли вниз, но прежде чем взять шляпу, Диар заглянул в столовую дома, в котором шла игра, и попросил стакан воды. Пока за ней ходили, он, прохаживаясь по комнате, успел незаметно схватить один из фруктовых ножей с острым стальным лезвием и перламутровой ручкой: их еще не успели убрать после десерта.

— Где ты живешь? — спросил Монтефьоре, когда они вышли во двор. — Я велю прислать карету, чтобы дожидалась меня у твоих ворот.

Диар точно указал, где его дом.

— Ты же понимаешь, — вполголоса сказал Монтефьоре, взяв его под руку, — с тобой-то мне нечего бояться. Но если б я возвращался один и какой-нибудь негодяй меня выследил, ему было бы очень выгодно убить меня.

— У тебя что, много денег при себе?

— Самые пустяки, — ответил недоверчивый итальянец. — Только те, которые я у тебя выиграл. Но для любого нищего — это целое состояние и солидный патент на честность до конца его жизни.

Диар повел итальянца пустынной улицей, где заприметил дом, к которому вела аллея, обсаженная деревьями и огражденная с обеих сторон высокими, мрачными стенами. Когда они дошли до этого места, у Диара хватило наглости попросить своего спутника, по-военному бесцеремонно, оставить его на минутку и пройти немного вперед. Монтефьоре, догадавшись, зачем, решил составить ему компанию. Но лишь только они вместе вошли в аллею, Диар дал ему подножку, с быстротой тигра опрокинул его навзничь, наступил ногой ему на горло и несколько раз ударил ножом в сердце с такой силой, что лезвие, сломавшись, осталось в груди. Потом, обыскав Монтефьоре, он взял у него бумажник с деньгами. Хотя Диар проделал все это с холодной яростью, с проворством жулика, с поразительной ловкостью напав на итальянца врасплох, однако Монтефьоре успел крикнуть пронзительным голосом, от которого у спящих людей, должно быть, перевернулось все нутро: «Помогите! Убивают!» Он испускал не последние вздохи, а ужасающие вопли. Диар не знал, что, когда они входили в аллею, люди, потоком хлынувшие из театров, где только что закончился спектакль, находились в начале улицы и услышали стоны умирающего, хотя провансалец, стараясь заглушить их, все сильнее нажимал ему ногой на горло, пока вопли постепенно не стихли. Люди бросились бежать к аллее, высокая ограда которой, отражая крики, точно указывала место, где совершалось преступление. Их топот отдавался у Диара в мозгу. Но, не потеряв головы, убийца вышел из аллеи на улицу, двигаясь очень медленно, будто любопытствующий, который понял, что всякая помощь здесь бесполезна. Он даже повернулся лицом к бегущим, чтоб определить, какое расстояние отделяет его от них, и увидел, что они устремились прямо в аллею, кроме одного, который из вполне понятной предусмотрительности стал наблюдать за ним.

— Это он! Это он! — закричали люди, вбежавшие в аллею, когда заметили распростертое на земле тело, обнаружили, что дверь особняка заперта и, обыскав аллею, не нашли убийцы. Едва раздался этот крик, Диар, чувствуя, что сейчас начнется погоня, обрел в себе львиную силу, оленью резвость и помчался, как на крыльях. В другом конце улицы он увидел, или ему показалось, что он видит, множество людей, и кинулся в проулок. Но уже все окна пооткрывались, у каждого окна выросли человеческие фигуры, из каждой двери доносились, крики, везде мелькали огни. Диар, спасаясь, несся как бешеный, пролетал среди огней, среди шума, мчался с такой быстротой, что опережал этот шум, но не мог убежать от всех этих глаз, которые охватывали пространство скорее, чем он успевал его преодолеть. Жители, солдаты, жандармы — все в квартале мгновенно оказались на ногах. Кто поусерднее, кинулся будить полицейских комиссаров, остальные стерегли труп. Нарастающий гул голосов долетал до беглеца, гнал его вперед, как ветер гонит пламя пожара, доносился и в центр города, где жили судьи. Диару казалось, что это он во сне слышит, как целый город воет, мечется, трепещет. Но он сохранял еще ясность мысли, присутствие духа и вытирал руки о стены домов. Наконец он добежал до садовой ограды своего дома, думая, что бегущие за ним потеряли его след. Диар очутился в совершенно тихом месте, хотя и туда еще доносился отдаленный гул города, схожий с рокотом моря. Он зачерпнул воды из ручья и напился. Потом, увидев кучу битого камня, спрятал там свои деньги, повинуясь смутной мысли, какая возникает у преступников в ту минуту, когда они, потеряв способность судить о своих поступках в целом, торопятся построить доказательство своей невиновности на отсутствии улик. Спрятав деньги, он постарался принять спокойный вид, даже улыбаться, тихо постучался в дверь своего дома, надеясь, что никто его не видел. Он заметил сквозь решетчатые ставни свет в комнате жены. Тут в минуту жестокой тревоги картина мирной жизни Хуаны, проводившей вечера с сыновьями, вдруг возникла перед ним, и его словно обухом ударило. Горничная отперла ему. Диар быстро захлопнул дверь ногой. Теперь только он перевел дух, но, чувствуя, что весь в поту, остался в тени, отослав горничную назад, к Хуане. Он вытер носовым платком лицо, привел в порядок одежду, как фат, который оправляет на себе фрак перед тем, как войти в гостиную хорошенькой женщины. Потом осмотрел при лунном свете руки, ощупал лицо и сделал радостное движение, не найдя на них следов крови. Очевидно, у его жертвы произошло внутреннее кровоизлияние. Охорашиваясь, убийца потерял несколько минут. Он направился в комнату Хуаны спокойной, размеренной походкой, какая бывает у человека, когда он, вернувшись из театра, идет ложиться спать. Поднимаясь по лестнице, он успел обдумать свои дальнейшие действия, определив их двумя словами: уйти и добраться до порта. Эта мысль не возникла в его мозгу, он словно прочел ее, она горела в темноте огненными буквами. Добраться до порта, спрятаться там на день, а ночью вернуться за деньгами; потом, притаившись, как крыса, на дне трюма любого корабля, уехать, чтобы ни одна душа не знала о его присутствии на этом судне. Для этого прежде всего нужны деньги, а у него ничего не было. Горничная вышла ему посветить.

— Фелиси, — сказал он, — вы слышите шум и крики на улице? Сходите, узнайте, что там такое, и сообщите мне...

Его жена в белом ночном одеянии сидела за столом вместе с Франсуа и Хуаном. Они следили по подлиннику Сервантеса за текстом, который мать читала вслух. Все трое остановились и подняли глаза на Диара, который стоял, засунув руки в карманы, не двигаясь, быть может, сам пораженный тем, что очутился в этом мирном уголке, озаренном мягким светом, видит прекрасные лица этой женщины и двух мальчиков. Перед ним была словно живая картина: богоматерь с сыном и святым Иоанном.

— Хуана, мне тебе нужно что-то сказать.

— Что случилось? — спросила она, догадываясь по изжелта-бледному лицу мужа о несчастье, которого каждый день ждала.

— Ничего, но мне надо поговорить с тобой... одной. — И он пристально взглянул на сыновей.

— Идите, мои маленькие, к себе в комнату и ложитесь спать, — сказала она. — Помолитесь без меня.

Мальчики послушно вышли, не проявляя любопытства, как хорошо воспитанные дети.

— Милая Хуана, — ласково заговорил Диар. — Я оставил тебе очень мало денег и теперь в отчаянии от этого. Скажи, с той поры, как я снял с тебя заботы о доме, выдавая деньги помесячно, не сделала ли ты, как другие женщины, небольших сбережений?

— Нет, — ответила Хуана. — У меня ничего нет. Вы не учли расходов на образование детей. Это не упрек, мой друг, я напоминаю вам об этом упущении только затем, чтоб объяснить, почему у меня нет денег. Все, что вы мне дали, ушло на учителей и на...

— Хватит! — грубо прервал ее Диар. — Черт возьми, время дорого. Есть у вас драгоценности?

— Вы хорошо знаете, что я их не ношу.

— Значит, в доме ни гроша! — злобно крикнул Диар.

— Почему вы кричите? — сказала она.

— Хуана, — ответил Диар, — я только что убил человека.

Хуана бросилась в соседнюю комнату и, закрыв двери, вернулась.

— Чтобы ваши сыновья не слышали, — сказала она. — Но с кем же вы могли драться?

— С Монтефьоре, — ответил он.

— Ах! — со вздохом сказала Хуана. — Это единственный человек, которого вы имели право убить.

— У него было много причин умереть от моей руки. Но не станем терять время. Денег, денег, денег, во имя господа! Меня, вероятно, ищут. Мы не дрались. Я... убил его.

— Убили? — вскрикнула Хуана. — Но как?

— Ну, как убивают... Он дочиста меня обыграл, и я отнял у него свои деньги. Хуана, пока все спокойно, вам следовало бы, раз у вас нет денег, сходить за моими деньгами; они лежат под кучей щебня, — той, что в конце сада.

— Боже мой! — воскликнула Хуана. — Вы обокрали его!

— Вам-то что до этого? Ведь я должен бежать, не так ли? И денег у вас нет? На мой след напали!

— Кто?

— Полиция!

Хуана вышла и тут же возвратилась.

— Вот возьмите, — сказала она, протягивая ему золотой крест. — Это крест донны Лагиниа, на нем четыре рубина, говорят, большой ценности. Ступайте. Уходите, уходите... уходите же!

— Фелиси не возвращается, — как в оцепенении пробормотал Диар. — Неужели ее арестовали?

Хуана положила крест на край стола и бросилась к окнам, выходившим на улицу. При свете луны она увидела солдат, которые в полной тишине выстраивались вдоль стены. Она вернулась и, притворяясь спокойной, сказала мужу:

— Вам нельзя терять ни минуты. Бегите через сад. Вот ключ от калитки.

Из осторожности она все-таки пошла посмотреть, что делается в саду. И там в тени, под деревьями, увидела несколько бликов на серебряных позументах жандармских треуголок. До нее даже донесся смутный гул толпы: любопытные стекались сюда со всех сторон, их сдерживали часовые, расставленные в обоих концах улицы. Люди, стоявшие у окон, видели Диара. По их показаниям и показаниям Фелиси, которую сначала припугнули, потом арестовали, солдаты и жандармы мгновенно преградили доступ к тем двум улицам, на углу которых стоял дом. Жандармы, сменившиеся после дежурства у театра, оцепили дом, остальные перелезли через ограду сада и производили там обыск, уверенные, что убийца скрывается здесь.

— Сударь, — сказала Хуана, — вам не удастся выйти. Весь город тут.

Диар бросился к окнам с отчаянной решимостью пойманной птицы, которая ударяется с размаху о все стекла. Он метался, ища выхода. Хуана стояла, задумавшись.

— Куда мне спрятаться? — спросил он.

Диар глядел на камин, а Хуана на два пустых стула. С какого-то мгновения ей казалось, что ее дети здесь. Вдруг калитка с улицы отворилась, и во дворе послышался топот бесчисленных ног.

— Хуана, моя дорогая Хуана! Ради бога, дайте совет! Спасите меня!

— Да, да... Сейчас... Я вас спасу, — сказала Хуана, выходя из комнаты.

— Ах! Ты будешь моим ангелом-хранителем!

Хуана возвратилась, протянула Диару один из его пистолетов и отвела глаза. Диар не взял оружия. Услышав голоса во дворе, где укладывали тело маркиза, чтобы подвести к нему убийцу, она оглянулась на Диара и увидела, что он бледен, как смерть. Чувствуя, что ноги его не держат, он хотел сесть.

— Ваши дети вас умоляют об этом, — сказала Хуана, вкладывая ему в руку оружие.

— Хуана!.. Добрая моя, миленькая Хуана, значит, ты считаешь, что... Хуана, неужели это так спешно?.. Мне бы хотелось тебя поцеловать...

Жандармы уже поднимались по ступенькам лестницы. Тогда Хуана взяла у него пистолет, прицелилась и, крепко держа Диара, несмотря на его крики, схватила его за горло, выстрелила ему в голову и бросила оружие на пол.

Дверь внезапно отворилась. Показался королевский прокурор, за ним — судебный следователь, врач, секретарь суда, жандармы — словом, все вершители человеческого правосудия.

— Что вам угодно? — сказала Хуана.

— Это господин Диар? — спросил королевский прокурор, показывая на труп, согнувшийся вдвое.

— Да, сударь.

— У вас все платье в крови, сударыня.

— Вы не понимаете, почему? — спросила Хуана, садясь за столик, и, взяв с него том Сервантеса, застыла, бледная, полная глубокого нервного возбуждения, которое старалась скрыть.

— Выйдите, — сказал прокурор жандармам и знаком пригласил следователя с врачом остаться.

— Сударыня, в таком случае нам только остается порадоваться за вас, что ваш муж умер. Если он из-за своей пагубной страсти заблуждался в жизни, то все же умер как военный человек, сделав излишним вмешательство правосудия. Но при всем нашем желании не тревожить вас в такую минуту закон обязывает нас запротоколировать и всякую насильственную смерть и самоубийство. Разрешите нам выполнить свой долг.

— Можно мне пойти переодеться? — спросила Хуана, положив книгу на столик.

— Да, сударыня, но принесите сюда это платье. Оно, несомненно, понадобится доктору.

— Вероятно, госпоже Диар будет очень тяжело присутствовать при вскрытии, — заметил врач, поняв подозрения прокурора. — Господа, разрешите ей остаться в соседней комнате.

Судьи согласились с сердобольным врачом, и Фелиси пошла помочь хозяйке. Следователь и прокурор стали вполголоса беседовать между собой. Судьи — несчастнейшие люди, они обязаны всех подозревать, до всего доискиваться, всюду предполагать дурные намерения и раскрывать их, чтобы добраться до правды, скрывающейся под самыми противоречивыми поступками. Может ли выполнение жрецами правосудия своего страшного долга в конце концов не иссушить в них источника тех великодушных чувств, которые сами они вынуждены брать под сомнение? Если чувства хирурга, вечно копающегося в тайнах человеческого тела, в конце концов притупляются, что же становится с совестью судьи, которому постоянно приходится исследовать малейшие изгибы человеческой души? Первые мученики своей миссии, судьи ходят всегда в черном, словно носят траур по своим погибшим иллюзиям, и преступление ложится на них такой же тяжестью, как на самих преступников. Старец, заседающий в трибунале, величествен; но не приводит ли нас в содрогание молодой судья? Судебный следователь был молод и все же по обязанности спросил прокурора:

— Не думаете ли вы, что жена была сообщницей мужа? Не нужно ли привлечь ее к следствию? Допросить ее?

Прокурор небрежно пожал плечами и сказал:

— И Монтефьоре и Диар были известные негодяи. Горничная не имела понятия о преступлении. Покончим на этом.

Врач, производивший вскрытие, осматривал труп Диара, диктуя протокол секретарю суда, и вдруг кинулся в комнату Хуаны.

— Сударыня!..

Хуана, уже сменившая свое окровавленное платье, вышла ему навстречу.

— Это вы? — сказал он, наклонившись к уху испанки. — Вы убили своего мужа?

— Да, сударь!

— ...Из всей совокупности данных, — продолжал диктовать врач, — следует, что вышеозначенный Диар добровольно, своей рукой убил себя.

— Вы кончили? — спросил он секретаря суда.

— Да, — ответил тот.

Врач подписал протокол. Хуана взглянула на него, с трудом подавляя слезы, набегавшие ей на глаза.

— Господа, — сказала она, повернувшись к прокурору. — Я иностранка, испанка. Я не знаю здешних законов, никого не знаю в Бордо. Прошу вас о большой услуге. Прикажите выдать мне паспорт для отъезда в Испанию.

— Одну минутку! — воскликнул судебный следователь. — Сударыня, что сталось с деньгами, украденными у маркиза ди Монтефьоре?

— Господин Диар мне что-то говорил о куче щебня, под которой он их спрятал, — ответила Хуана.

— Где?

— На улице.

Прокурор и следователь переглянулись. У Хуаны вырвалось гордое движение, она подозвала врача.

— Сударь, — сказала она ему шепотом. — Меня, кажется, подозревают в чем-то бесчестном? Меня! Куча щебня находится в конце моего сада. Прошу вас, сходите туда сами. Осмотрите ее, поищите хорошенько, найдите эти деньги.

Врач вышел, взяв с собой следователя, и они нашли бумажник Монтефьоре.

На следующий день Хуана продала свой золотой крест, чтобы оплатить дорожные расходы. Направляясь с детьми к дилижансу, в котором они должны были добраться до границы, она услышала, что кто-то на улице ее окликнул. Ее умирающую мать препровождали в больницу, и в щель между занавесями носилок Марана увидела свою дочь. Хуана велела внести носилки под ворота. Там состоялась последняя встреча матери и дочери. Хотя они говорили вполголоса, старший сын Хуаны услышал ее прощальные слова:

— Умрите с миром, мать, я приняла страдания за всех вас!

*Париж, ноябрь 1832 г.*

1. *Графиня Марлен* — испанка, жившая в 30‑х годах в Париже; в ее салоне бывал Бальзак. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Таррагона* — испанский город, был взят французским маршалом Сюше в 1811 году. [↑](#footnote-ref-2)
3. В душе (*итал.*). [↑](#footnote-ref-3)
4. *...ни пули под Пиццо* . — Под Пиццо в Калабрии (Италия) 5 октября 1815 года был расстрелян наполеоновский маршал Иоахим Мюрат (1771—1815), король неаполитанский. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Об этом бивуачном развлечении повествуется в другом месте.* — История капитана Бьянки рассказана не в «Сценах парижской жизни», а в книге «Коричневые рассказы», написанной Бальзаком совместно с Ш. Рабу и Ф. Шалем в 1832 году. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Флибустьеры* — пираты XVII века, грабившие главным образом испанские корабли. В борьбе с Испанией, своей соперницей на мировом рынке, Англия и Франция часто использовали флибустьеров. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Наследник по субституции* — то есть наследник, который вступает в права наследства только в том случае, если первый наследник, упомянутый в завещании, почему‑либо не вступит в права. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Битва при Сен‑Кантене.* — Речь идет о взятии французского города Сен‑Кантена испанскими войсками после ожесточенного штурма в 1557 году. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Риччо* — политический авантюрист, фаворит шотландской королевы Марии Стюарт, был казнен. [↑](#footnote-ref-9)
10. Жаровня (*исп.*). [↑](#footnote-ref-10)
11. *Гверильясы* — испанские партизаны, действовавшие во время народной войны против французских войск, которые вступили в Испанию по приказу Наполеона в 1808 году. [↑](#footnote-ref-11)
12. Сигарету (*исп.*). [↑](#footnote-ref-12)
13. *Нинон де Ланкло, Марион Делорм, Каталина, Империа* — имена куртизанок.

    *Марион Делорм* — героиня одноименной драмы Гюго.

    *Империа* — героиня двух «Озорных рассказов» Бальзака — «Красавица Империа» и «Замужество красавицы Империи». [↑](#footnote-ref-13)
14. *Маркиза Пескара* , Виттория Колонна (1490—1547) — итальянская лирическая поэтесса, оплакивавшая в сонетах раннюю смерть своего мужа маркиза Пескара, известного итальянского полководца. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Бартоло* — персонаж комедии Бомарше «Севильский цирюльник» и оперы Россини, написанной на сюжет этой комедии, нарицательное имя старого ревнивца. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ловелас* (или Ловлас) — развратный светский щеголь, персонаж романа английского писателя XVIII века Ричардсона «Кларисса, или История молодой леди», нарицательное имя соблазнителя и волокиты. [↑](#footnote-ref-16)
17. Пламенной красоты (*итал.*). [↑](#footnote-ref-17)
18. *...стих, вложенный неким современным поэтом в уста Марион Делорм.* — Имеется в виду романтическая драма В. Гюго «Марион Делорм» (1829). [↑](#footnote-ref-18)
19. *...отца нашего театра* — то есть Пьера Корнеля, французского драматурга XVII века. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Убийство герцога Беррийского.* — Племянник французского короля Людовика XVIII, наследник престола герцог Веррийский был убит 13 февраля 1820 года при выходе из Парижской оперы рабочим‑седельщиком Лувелем, который хотел таким образом положить конец династии Бурбонов. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Остров Сен‑Луи* — одна из старейших частей Парижа. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Неконсолидированные долги* — долги, не подлежащие консолидации. Консолидация — кредитная операция, обращающая краткосрочные государственные долги в долгосрочные. [↑](#footnote-ref-22)